

СЕРИЯ

**ТРАНССИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ПУТЬ**

TSSW

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

Н.Е. Никонова, Ю.С. Серягина,
Д.А. Олицкая, В.Н. Горенинцева,
Ю.И. Родченко, Е.В. Аблогина,
М.В. Павлова

ПЕРЕВОДЫ
НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
ПЕРИОДИКЕ СИБИРИ

ХРЕСТОМАТИЯ



Издательство Томского университета
2016

УДК 821.161.1, 821.112.2

ББК 83.3я73

П

П **Переводы немецкой литературы в дореволюционной
периодике Сибири: Хрестоматия. – Томск: Изд-во ТГУ,
2016. – 204 с.**

ISBN 978-5-7511-2418-2

DOI: 10.17223/9785751124182

Хрестоматия содержит систематически подобранные переводы литературно-художественных произведений писателей и поэтов, которые были опубликованы на страницах сибирских периодических изданий 1880–1910-х гг. и выполнены местными авторами специально для них. Параллельно русским переводам представлены немецкие оригиналы сочинений Новалиса, Г. Гейне, Ф. Ницше и др. В книге впервые комплексно репрезентована альтернативная рецепция инонациональной словесности, открывающая специфику регионального культурного сознания.

Для студентов-гуманитариев, в том числе обучающихся по направлениям подготовки «Филология», «История», «Журналистика».

УДК 821.161.1, 821.112.2

ББК 83.3я73

Издание осуществлено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук (проект МД-4756.2016.6)

ISBN 978-5-7511-2418-2

© Н.Е. Никонова, Ю.С. Серягина, Д.А. Олицкая,
В.Н. Горенинцева, Ю.И. Родченко,
Е.В. Аблогина, М.В. Павлова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед Вами первое в своем роде учебно-практическое издание, включающее в себя переводы, опубликованные на страницах газет «Сибирский вестник», «Сибирская жизнь», «Сибирская газета», «Сибирский листок» в период 1880–1910-х гг. Для хрестоматии были отобраны оригинальные переводы, выполненные журналистами специально для региональной периодики и не публиковавшиеся в центральной печати. О перепечатках, подражаниях, произведениях по мотивам, характере литературно-критической рецепции зарубежных авторов, сопровождавшей появление публикуемых текстов в периодических изданиях, можно узнать из справочных статей, посвященных каждому из них в настоящем издании.

Данный комплекс литературно-художественных текстов уникален с точки зрения историко-культурной значимости, поскольку он системно раскрывает важнейшие черты субэтнического культурного сознания сквозь призму имагологической парадигмы, т.е. посредством понимания процесса формирования представлений о «своем» (национальном, региональном) и «чужом» (инонациональной словесной культуре). Эти воззрения декодируются в характерных сюжетах, мотивах, образах и жанре сочинений, выбранных авторами сибирских газет.

Корпус переводов, собранный впервые под обложкой хрестоматии, позволяет значительно дополнить представление об истории и развитии словесной культуры в Сибири, что находится в русле современных тенденций гуманитаристики и соответствует направлениям исследовательской деятельности центра «Транссибирский научный путь» (TSSW), созданного в Национальном исследовательском Томском государственном университете и специализирующегося на изучении Сибири.

Хрестоматия «Переводы немецкой литературы в дореволюционной периодике Сибири» дополняется двумя прецедентными учебно-практическими изданиями, включающими в себя избранные переводы французской и англо-американской литературы, вышедшие на страницах сибирской печати конца XIX – начала XX в. Материалы этих трех изданий свидетельствуют о том, что центром региональной рецепции зарубежных тенденций и традиций в словесности на рубеже веков выступал Томск. Причиной такой локализации, и в географическом, и в идейном плане, стала высокая концентрация образованной интеллигенции вокруг основанного в 1888 г. первого за Уралом русского университета, как ссыльной, так и той, что приехала по своей воле, чтобы служить науке, образованию, развитию русской мысли. Томская периодика выполняла миссию органа просвещения, а также превратилась в площадку для самореализации талантливых, думающих людей. Этим вполне объясняется достаточно высокая для провинции степень зрелости этого культурного сознания, отсутствие абсолютной зависимости от столичного вектора мысли.

Избранные переводы немецкой литературы, вышедшие в дореволюционной периодике Сибири, представлены по персоналиям инонациональных авторов, в хронологическом порядке, с разделением по роду литературы на стихотворные и прозаические сочинения. Таким образом, в разделе поэзии помещены немецкие оригиналы и сибирские эквиваленты произведений, начиная от поэзии Новалиса (1772–1801) и заканчивая афоризмами Ф. Ницше (1844–1900). Прозаическая часть включает ряд рассказов популярных на рубеже XIX–XX вв. немецких авторов (скандально известного Л. Захер фон Мазоха, идеологов сионизма Т. Герцля и М. Нордау; беспощадного театального критика О. Блюменталя и др.), привлечших внимание своих современников в Сибири. Включенные в хрестоматию произведения представляют бóльшую часть переводов с немецкого, напечатанных в сибирских дореволюционных периодических изданиях, оригиналы которых поддаются атрибуции. В этом состоит их отличие от переводов французской и английской литературы, источники которых определяются значительно проще, по крайней мере, без дополнительных архивных разысканий.

Композиция учебной книги, в которой перевод располагается параллельно оригиналу (*en regard*), позволяет проследить переводческие трансформации, важнейшие для понимания авторских рецеп-

тивных стратегий в процессе сопоставления текстов на иностранном и русском языках. В результате комплексного сравнения оригиналов и переводов, представленных на страницах хрестоматии, выявляются характерные особенности важнейшего этапа в истории отечественного художественного перевода в целом и региональной переводной литературы в частности, а также европейские связи русской литературы. Материалы хрестоматии могут быть использованы в обучении студентов языковых специальностей в рамках курсов по истории, теории и практике перевода, по истории зарубежной и региональной литературы, а также по истории русско-западно-европейских литературных контактов при обучении по бакалаврским и магистерским программам по направлениям подготовки 45.04.01 – Филология, 45.03.03 – Издательское дело.

Персоналии зарубежной литературы сопровождаются комментариями, которые, во-первых, представляют их место в актуальном синхронном культурно-историческом контексте эпохи и, во-вторых, содержат библиографию критических, публицистических заметок и театральных рецензий, посвященных их творчеству и опубликованных в сибирских газетах, что позволяет читателю при необходимости дополнить свое представление о характере сибирской локализации зарубежных авторов, являвшихся, как правило, видными деятелями общественно-политической и культурной жизни Европы.

Настоящее учебно-практическое издание создано по результатам масштабной источниковедческой и исследовательской работы кафедры романо-германской филологии, проведенной в 2007–2016 гг., с одной стороны, и дополняет серию созданных Н.В. Жиликовой, В.В. Шевцовым, Е.В. Евдокимовой и др. коллегами научно-исследовательских и учебно-методических трудов томской гуманитарной школы, посвященных становлению и развитию сибирской журналистики дореволюционного периода и литературному регионализму – с другой.

Материал хрестоматии будет востребован в учебном процессе (бакалаврская программа по направлению подготовки 42.03.02 – Журналистика) и исследованиях дореволюционных медиаресурсов, поскольку он расширяет и дополняет представления о содержательных и концептуальных особенностях сибирской периодической печати. Газетная полоса дореволюционной периодики представляла собой синтез текстов разных типов: оригинальных произведений

местных журналистов и публицистов, перепечаток из зарубежной, столичной, провинциальной прессы, рекламы, а также разнообразных литературных жанров. В газетах публиковались стихотворения и очерки, рассказы и романы и, конечно, переводы. Взаимодействие и взаимовлияние текстов разных типов, литературных и публицистических жанров, проблемы актуализации беллетристического материала в контексте формирования информационной повестки дня – решение этих и других исследовательских проблем становится возможным благодаря материалу, представленному в настоящей хрестоматии.

Поскольку переводы входили в структуру ведущих сибирских газет и журналов, они неизбежно становятся предметом научного осмысления историков и социальных антропологов, которые обращаются к истории становления и развития сибирской периодической печати, к вопросу о том, какую роль сыграла журналистика Сибири в формировании регионального самосознания. Поэтому хрестоматия рекомендована также обучающимся по магистерским программам «Сибирские исследования» по направлению подготовки 03.06.00 – История; и «Социальная антропология и этнология» по направлению подготовки 46.04.03 – Антропология и этнология.

ПОЭЗИЯ



Новалис
(Novalis, псевдоним Фридриха фон Гарденберга;
1772–1801)

Новалис (Novalis, псевдоним Фридриха фон Гарденберга; 1772–1801) – немецкий писатель, философ, поэт, один из крупнейших представителей раннего немецкого романтизма. Входил в круг так называемых иенских романтиков, был сподвижником А. и Ф. Шлегелей, Л. Тика, Ф. Шеллинга. Более серьезно, чем кто-либо из остальных представителей романтизма, стремился в своем творчестве к совершенному слиянию науки, религии и философии.

Наиболее значительным произведением Новалиса признается неоконченный роман «Генрих фон Офтердинген», первая часть которого («Ожидание») вышла в 1802 г. уже после смерти поэта. Содержание второй неоконченной части («Исполнение») известно во многом благодаря пересказу и комментариям Л.Тика. Герой романа – полулегендарная фигура поэта-миннезингера, совершающего путь познания, целью которого является голубой цветок как символ тайны мироздания. Отдельные главы романа отражают этапы постижения героем мира, переломным моментом в его становлении является сказка Клингсора – подлинного поэта и мудреца, наставника Генриха, – заключающая в себе мысль о высшей роли поэзии в мироздании. Роман Новалиса содержит скрытую полемику с «романом воспитания» Гёте в «Вильгельме Майстере».

Переводы

Единственным обращением к Новалису на страницах томской периодики является перевод поэтической вставки из третьей главы романа «Генрих фон Офтердинген», опубликованный в 1912 г. в газете «Сибирская жизнь» (№ 54). Перевод выделяется среди разнородных сообщений заголовком «Из Новалиса», само же стихотворение озаглавлено «Карбункул».

Карбункул появляется уже в первой прозаической повести Новалиса «Ученики в Саисе» (1798). В набросках к роману «Генрих фон Офтердинген» он упоминается как древнее сокровище, талисман императорского дома, для которого оставлено место в короне. Поэт находит его в чашечке цветка на груди своей утраченной возлюбленной, а показывает ему карбункул неземная маленькая девочка, сидящая на ее гробе. Во второй части камня не хватает в короне Гогенштауфенов (будущий императорский дом).

Первый перевод романа «Генрих фон Офтердинген» на русский язык был выполнен З. Венгеровой в 1914 г., стихотворные вставки для него перевел В.В. Гиппиус.

Публикации

Карбункул. Из Новалиса // Сибирская жизнь. – 1912. – №54. – С. 3.

Novalis

Der Karfunkel

Es ist dem Stein ein räthselhaftes Zeichen
Tief eingegraben in sein glühend Blut,
Er ist mit einem Herzen zu vergleichen,
In dem das Bild der Unbekannten ruht.
Man sieht um jenen tausend Funken streichen,
Um dieses woget eine lichte Flut.
In jenem liegt des Glanzes Licht begraben,
Wird dieses auch das Herz des Herzens haben?

Из Новалиса

Карбункул

Есть в этом камне символ странный,
На глубине таимый им:
Как он, – за жизнью многогранной
Мы образ тайного храним. –

Он мечет искр поток пространный, –
Мы светлую волну рябим;
В нем свет сиянья бьется глухо, –
Не живы ль все мы тайной духа?

Иосиф Иванов



Генрих Гейне
(Heinrich Heine, 1797–1856)

Генрих Гейне (Heine, Heinrich; 1797–1856) – немецкий поэт, прозаик, публицист, один из важнейших представителей романтической эпохи в немецкой поэзии. С ранних лет Г. Гейне проявлял интерес к поэзии, но вынужден был обучаться юриспруденции. Его писательский дебют состоялся в 1817 г. в журнале «Гамбургский страж», но остался незамеченным. В 1824 г. он все-таки получает степень доктора права, но вся его дальнейшая жизнь связана лишь с литературой. В 1827 г. выходит лирический сборник «Книга песен» (“*Buch der Lieder*”), сделавший его известным. Следующий сборник «Путевые картины» (“*Reisenbilder*”, 1826–1831) основан на впечатлениях писателя от путешествий по континенту. Гейне удается в художественной форме выразительно и остро отразить социальные и политические проблемы своей родины. На творчество Гейне сильное влияние оказала Июльская революция во Франции в 1830 г. В Германии его пропитанные сатирой произведения подвергались цензуре. Он переезжает в Париж, где создает поэмы «Атта Тролль» и «Германия. Зимняя сказка». В 1846 году прогрессирующий паралич укладывает Гейне, по собственному его высказыванию, в «матрасную могилу», но он продолжает творить. Сборник «Романцero» (“*Romanzero*”, 1851) отличается более печальным настроением и пессимизмом.

Впервые на русский язык произведения Гейне переводит Ф.И. Тютчев в 1829–1830 гг. Стихотворения Гейне также переводили такие известные русские поэты, как А.А. Фет, К.Д. Бальмонт, А.А. Блок и др. К моменту публикации сибирских переводов, Гейне был уже довольно популярен в России. В центральной печати некоторые его произведения переводились множество раз. Например, стихотворение «*Lieb Liebchen, leg’s Händchen*» (1822) до выхода в печать сибирского издания (т.е. до 1903 г.) было переведено более 10 раз (впервые опубликовано в переводе М. Михайлова в «Литературной газете» в 1847 г.), «*Und wüßten’s die Blumen, die kleinen*» и «*Das Meer erglänzte weit hinaus...*» – более 9 раз, известно 7 вариантов перевода «*Die Götter Griechenlands*» (впервые в газете «Москвитянин», 1847 г., пер. М. Дмитриев) и больше четырех переводов «*Wandere!*» и «*Wallfahrt nach Kevlaar*» (впервые в газете «Иллюстрация» в 1858 г. в переводе М. Михайлова) и т.д.

Критика

В сибирской публицистике Г. Гейне является одним из самых частых персонажей. В 1898 г. в рубрике «Фельетон “Сибирского вестника”» печатается статья томского писателя и переводчика И. Северного «Арабески. Судьба Сибири», в которой немецкий писатель, наряду с Гете, представляется одним из ярчайших представителей зарубежной литературы. В 1904 г. в «Сибирском вестнике» перепечатывается статья из «Руси», в которой Гейне сравнивается с Чеховым, обозначается их общая черта – способность сочетать в произведениях «веселье и скорбь». Примечательно также, что один из фельетонистов «Сибирских отголосков» берет себе псевдоним «Гейне из Томска».

Переводы и подражания

Сибирские писатели и переводчики выбирали произведения преимущественно из таких сборников, как «Книга песен» (“Buch der Lieder”, 1827, циклы “Junge Leiden”, “Lyrisches Intermezzo”, “Die Heimkehr”, “Die Nordsee”) и более поздних «Новых стихотворений» (“Neue Gedichte”, 1844). Сибирских авторов привлекает, главным образом, любовная и пейзажная лирика. Началом сибирской рецепции наследия немецкого поэта можно считать перепечатку перевода стихотворения «Вести из Германии», опубликованную в «Сибирском вестнике» в 1886 г. Далее в сибирской периодике появляются переводы следующих стихотворений: «Асра», «Богомольцы», «Из песен сердца», «Безбрежное море дремало», «Дай ручку сюда... положи мне», «Если б знали цветочки-малютки», «Гимн», встречаются сразу два перевода стихотворения “Wandere”: «Если женщина с сердцем холодным...» и «Если женщина, миг поигравши с тобой». Большинство произведений Гейне были переведены томскими поэтами и переводчиками Г. Вяткиным и И. Северным.

Некоторые стихотворения, опубликованные под заголовком «Из Гейне», являются псевдопереводами, т.е. произведениями, пародирующими стиль писателя, но не имеющими оригинала. К псевдопереводам из Гейне в сибирской печати можно отнести стихотворения «Наказ», «Гибель Олимпа», «Любимцу муз, – ты мне сказала...» и «Дуралеи».

Интересным явлением в сибирской печати являются стихотворные подражания: «Грезы. На севере диком», «Подражание Гейне», «На мотив Гейне», «На мотив из Гейне». Сибирские писатели нахо-

дят в творчестве Гейне близкие мотивы и темы и используют их в собственных произведениях.

Публикации

Критика

Арабески. Судьба Сибири // Сибирский вестник. – 1898. – № 35. – С. 2.

О чем говорят и пишут // Сибирский вестник. – 1904. – № 31. – С. 2.

Переводы

Вести из Германии // Сибирский вестник. – 1886. – № 2. – С. 4.

Асра // Сибирский вестник. – 1895. – № 41. – С. 3.

Богомольцы // Сибирский вестник. – 1895. – № 58. – С. 2.

Из песен сердца // Сибирский вестник. – 1896. – № 19. – С. 2.

«Дай ручку сюда... положи мне...» // Сибирская жизнь. – 1903. – № 67. – С. 2.

«Если б знали цветочки-малютки...» // Сибирская жизнь. – 1903. – № 153. – С. 2.

«Безбрежное море дремало...» // Сибирский вестник. – 1904. – № 271. – С. 2.

Гимн // Бубенцы. – 1906. – № 13. – С. 8.

«Если женщина с сердцем холодным...» // Сибирская жизнь – 1906. – № 177. – С. 3.

«Если женщина, миг поигравши с тобой» // Сибирские отголоски. – 1909. – № 72. – С. 3.

Псевдопереводы

Наказ. Из Гейне // Сибирский вестник. – 1895. – № 107. – С. 2.

Гибель Олимпа. Из Гейне // Сибирский листок. – 1903. – № 27. – С. 1.

Дуралеи (Из Г. Гейне) // Ерш. – 1906. – № 7. – С. 3.

Из Г. Гейне. Любимцу муз, – ты мне сказала... // Бубенцы. – 1906 – № 4. – С. 7.

Подражания

Грезы (На севере диком, Лермонтов) // Сибирская газета. – 1884. – №8. – С. 214.

Подражание Гейне // Сибирский вестник. – 1894. – № 107. – С. 2.

На мотив Гейне // Сибирский вестник. – 1903. – № 264. – С. 2.

На мотив из Гейне // Бубенцы. – 1906. – № 34. – С. 7.

Оригиналы

Heine H. Heines Werke in fünf Bänden. Erster Band. Gedichte / Leipzig : Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1972. – 481 S.

Die Wallfahrt nach Kevlaar

I

Am Fenster stand die Mutter,
Im Bette lag der Sohn.
«Willst du nicht aufstehn, Wilhelm,
Zu schau'n die Prozession?»

«Ich bin so krank, o Mutter,
Dass ich nicht hör und seh;
Ich denk an das tote Gretchen,
Da tut das Herz mir weh.» –

«Steh auf, wir wollen nach Kevlaar,
Nimm Buch und Rosenkranz;
Die Mutter Gottes heilt dir
Dein krankes Herze ganz.»

Es flattern die Kirchenfahnen,
Es singt im Kirchenton;
Das ist zu Köllen am Rheine,
Da geht die Prozession.

Die Mutter folgt der Menge,
Den Sohn, den führet sie,
Sie singen beide im Chore:
Gelobt seist du Marie!

II

Die Mutter Gottes zu Kevlaar
Trägt heut ihr bestes Kleid;
Heut hat sie viel zu schaffen,
Es kommen viel kranke Leut.

Die kranken Leute bringen
Ihr dar, als Opferspend,
Aus Wachs gebildete Glieder,
Viel wächserne Füß und Händ.

Und wer eine Wachshand opfert,
Dem heilt an der Hand die Wund;
Und wer einen Wachsfuß opfert,
Dem wird der Fuß gesund.

Богомольцы
(Wallfahrt nach Keviaar)
Гейне

Глядит старушка-мать в окошко,
В постели сын лежит больной.
– «Сыночек, встань! Пройдись немножко
Ты на процессию со мной!»

**

– «Я болен, мать! Нет сил спокойно
На Божий свет взглянуть –
О Гретхен плачу я покойной,
И больно, больно ноет грудь.

**

– Сыночек, встань! Пойдешь со мною
На богомолие, мой друг,
И исцелит Своей рукою
Святая дева твой недуг.

**

И вот хоругви вьются плавно,
И хор священный гимн поет:
Из Кельна к той иконе славной
Толпа молящихся идет.

**

С толпой старушка мать плетется
И держит сына при себе,
И гимн их в хоре раздается:
«Святая мать, хвала тебе!»

**

В Кевларе блещет Матерь Божья
Богатой ризою своей –
Сегодня у её подножья
Столпилось много так людей,

**

К святой иконе все больные
Дары с молитвою несут –
Руки, ноги восковые
К её стопам с мольбой кладут.

**

Nach Kevlaar ging mancher auf Krücken,
Der jetzo tanzt auf dem Seil,
Gar mancher spielt jetzt die Bratsche,
Dem dort kein Finger war heil.

Die Mutter nahm ein Wachslight,
Und bildete draus ein Herz.
«Bring das der Mutter Gottes,
Dann heilt sie deinen Schmerz.»

Der Sohn nahm seufzend das Wachsherz,
Ging seufzend zum Heiligenbild;
Die Träne quillt aus dem Auge,
Das Wort aus dem Herzen quillt:

«Du Hochgebenedeite,
Du reine Gottesmagd,
Du Königin des Himmels,
Dir sei mein Leid geklagt!

Ich wohnte mit meiner Mutter
Zu Köllen in der Stadt,
Der Stadt, die viele hundert
Kapellen und Kirchen hat.

Und neben uns wohnte Gretchen,
Doch die ist tot jetzund –
Marie, dir bring ich ein Wachsherz,
Heil du meine Herzenswund.

Heil du mein krankes Herze –
Ich will auch spät und früh
Inbrünstiglich beten und singen:
Gelobt seist du, Marie!»

III

Der kranke Sohn und die Mutter,
Die schliefen im Kämmerlein;
Da kam die Mutter Gottes
Ganz leise geschritten herein.

Из воска руку кто приносит,
Того от ран Она целит.
Кто ж о ноге здоровой просит,
Из воска ногу тот дарит.

**

Иной теперь танцует смело,
Кто шел сюда на костылях.
А тот, кого рука уж тлела,
Теперь играет на гусях.

**

И мать берет весь воск свой чистый
И лепит сердце из него.
– «Возьми, снеси его Пречистой:
Она излечит от всего!»

**

Взял сердце сын больной со вздохом,
Добрел к иконе он едва.
Молясь, он слезы льет потоком,
А сердце шлет ему слова:

**

«Пред Тобою, милосердной
Царицей Бога и людей,
Стою с молитвой я усердной –
Услышь Ты вопль души моей!

**

Когда-то весел, беззаботен
С старушкой матерью моей
Жил в Кельне я, где много сотен
Твоих часовен и церквей.

**

А рядом Гретхен обитала,
И с той поры, как нет её,
Болезнь так страшно сердце стало,
Прими мой воск, спаси меня!

**

Спаси ты сердце мне больное
И стану я всю жизнь мою
Молиться пред Тобой Одною
И славу воспевать Твою!

–

Sie beugte sich über den Kranken,
Und legte ihre Hand
Ganz leise auf sein Herze,
Und lächelte mild und schwand.

Die Mutter schaut alles im Traume,
Und hat noch mehr geschaut;
Sie erwachte aus dem Schlummer,
Die Hunde bellten so laut.

Da lag dahingestreckt
Ihr Sohn, und der war tot;
Es spielt auf den bleichen Wangen
Das lichte Morgenrot.

Die Mutter faltet die Hände,
Ihr war, sie wußte nicht wie;
Andächtig sang sie leise:
Gelobt seist du, Marie!

Из цикла «Возвращение домой», сб. «Книга песен». Опубл.: 1827.

Lieb' Liebchen, leg' s Händchen auf' s Herze mein;
Ach, hörst du, wie' s pochet im Kämmerlein?
Da hauset ein Zimmermann schlimm und arg,
Der zimmert mir einen Todtensarg.

Es hämmert und klopfet bei Tag und bei Nacht;
Es hat mich schon längst um den Schlaf gebracht.
Ach! sputet Euch, Meister Zimmermann,
Damit ich balde schlafen kann.

Из цикла «Страдания юности», сб. «Книга песен». Опубл.: 1822.

Заснули мирно, бестревожно
Старушка мать и сын больной,
Вдруг Матерь Божья осторожно
Шагнула в их приют ночной.

**

К страдальцу подойдя,
Она коснулась
Рукой слегка груди больной
И, исчезая, улыбнулась
Ему улыбкой неземной.

Старушке все как будто снилось
И все ей верилось с трудом –
Совсем она вдруг пробудилась:
Собаки выли на весь дом.

**

Глядит, в постели, без ответа,
Умерший сын её лежит,
И первый бледный луч рассвета
В лице его с игрой скользит.

**

Старушка в неземном волнении
Лишь руки к небу подняла,
И гимн шепнула в умилении
«Святая Мать, тебе хвала!»

Из Гейне

Дай ручку сюда... положи мне
На грудь ее... слышишь, дружок, –
Глухие, докучные звуки,
Как будто стучит молоток?
С утра и до сумрака ночи,
И с ночи до нового дня
Стучит гробовщик там усердно
И гроб мастерит для меня!
Устал я смертельно... Любезный, –
Окончить работу спеши!..
Быть может, хоть в этом домишке
Найду я покой для души!..

Ев. С-6

Und wüßten's die Blumen, die kleinen,
Wie tief verwundet mein Herz,
Sie würden mit mir weinen,
Zu heilen meinen Schmerz.

Und wüßten's die Nachtigallen,
Wie ich so traurig und krank,
Sie ließen fröhlich erschallen
Erquickenden Gesang.

Und wüßten sie mein Wehe,
Die goldnen Sternelein,
Sie kämen aus ihrer Höhe,
Und sprächen Trost mir ein.

Die alle können's nicht wissen,
Nur Eine kennt meinen Schmerz;
Sie hat ja selbst zerrissen,
Zerrissen mir das Herz.

Из цикла «Лирическое интермеццо», сб. «Книга песен». Опубл.: 1874.

Das Meer erglänzte weit hinaus,
Im letzten Abendscheine;
Wir saßen am einsamen Fischerhaus,
Wir saßen stumm und alleine.
Der Nebel stieg, das Wasser schwoll,
Die Möve flog hin und wieder;
Aus deinen Augen, liebevoll,
Fielen die Thränen nieder.
Ich sah sie fallen auf deine Hand,
Und bin auf's Knie gesunken;
Ich hab' von deiner weißen Hand
Die Thränen fortgetrunken.
Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib,
Die Seele stirbt vor Sehnen; –
Mich hat das unglückseel'ge Weib
Vergiftet mit ihren Thränen.

Из цикла «Возвращение домой», сб. «Книга песен». Опубл.: 1827.

**Из Гейне
(Und wüßten's die Blumen,
die Kleinen)**

Если б знали цветочки-малютки,
Как изранена бледная грудь, –
Они стали бы плакать со мною,
Чтобы в нее исцеленье вдохнуть.
Если б знали, как я изнываю.
Как измучился я, – соловьи, –
Они стали бы петь неумолчно
Мне целебные песни свои.
Если б звездочки светлые знали
Про тоску, что мне душу грызет
Принесли бы они утешенье
Мне с далеких небесных высот...
Нет, они не поймут моей грусти,
И не знают они про нее...
Лишь одна на земле это знает:
Та, что ранила сердце мое.

Е. С-ъ

Из Гейне

Безбрежное море дремало...
Горело в вечернем огне...
И волны чуть слышно шумели
И тихо ласкались ко мне...
Я ласк их не слышал, не видел;
Я видел, как с горькой тоской
Ты плакала долго и горько,
И слезы струились рекой,
И падали в белую руку...

– И, полн беспредельной тоски,
Склонил я колени... и выпил
Те слезы я с белой руки....

С тех пор я веселья не знаю,
Не верю в веселье твое:
Навеки чужими слезами
Отравлено сердце мое...

Г. Вяткин

Wandere!

Wenn dich ein Weib verraten hat,
So liebe flink eine andere;
Noch besser wär es, du ließest die Stadt –
Schnüre den Ranzen und wandere!

Du findest bald einen blauen See,
Umringt von Trauerweiden;
Hier weinst du aus dein kleines Weh
Und deine engen Leiden.

Wenn du den steilen Berg ersteigst,
Wirst du beträchtlich ächzen;
Doch wenn du den felsigen Gipfel erreichst,
Hörst du die Adler krächzen.

Da wirst du selbst ein Adler fast,
Du bist wie neugeboren,
Du fühlst dich frei, du fühlst: du hast
Dort unten nicht viel verloren.

Из цикла «Ollea», сб. «Новые стихотворения». Оpubл.: 1852.

Из Г. Гейне

Если женщина с сердцем холодным,
Или друг твой, обманет тебя,
Свою жизнь не губя,
Больше странствуй по белому свету,
Только горы да волно любя.

**

Ты лазурное озеро встретишь.
Там, у озера, ивы растут.
И свое молодое страданье
Поневоле забудешь ты тут.

**

Ты пойдешь на высокие горы,
Дальше, дальше от грязи и зла.
И дойдешь до алмазной вершины,
На вершине увидишь орла...

**

Сам как будто в орла превратишься;
И почувешь, что сильным ты стал,
Стал прекрасным и чистым... и мало,
Очень мало внизу потерял...

Г. В-ин

Из Г. Гейне

Если женщина, миг поигравши тобой,
Тебя бросит, – не плачь, негодуя, –
Не жалея об измене красотки молодой
И тотчас же влюбляйся в другую.

Но, коль здравому дашь перевес ты уму,
Если сердце изменой задето, –
В руки – посох возьми, через плечи – суму, –
И – отправься по белому свету...

Тебе встретится синее озеро. Вкруг
Его – тесно сплотившись ивы...
Тут ты выплачешь боль своих маленьких мук
И участия сердца порывы.

Der Asra

Täglich ging die wunderschöne
Sultanstochter auf und nieder
Um die Abendzeit am Springbrunn,
Wo die weißen Wasser plätschern.

Täglich stand der junge Sklave
Um die Abendzeit am Springbrunn,
Wo die weißen Wasser plätschern;
Täglich ward er bleich und bleicher.

Eines Abends trat die Fürstin
Auf ihn zu mit raschen Worten:
Deinen Namen will ich wissen,
Deine Heimath, deine Sippschaft!

Und der Sklave sprach: ich heiße
Mohamet, ich bin aus Yemmen,
Und mein Stamm sind jene Asra,
Welche sterben wenn sie lieben.

Из цикла «Истории», сб. «Романсеро». Оpubл.: 1859

И на горы крутые с трудом старика
Ты взойдешь. Но, достигнув вершины,
Будешь гордой ногой попирать облака
И услышишь ты крик там орлиный.

И – орлом станешь сам. И отдашься мечте.
И – отыщешь ты к счастью дорогу,
И поймешь ты тогда, – на святой высоте, –
Что внизу потерял ты – немного!..

А. Петров

Асра. Из Гейне

Порой вечерней каждый день
По саду близ фонтана
Проходит легкою стопой
Фатима, дочь султана.

А у фонтана каждый день
Со взором, полным муки,
Стоит невольник молодой,
Скрестив угрюмо руки.

И раз Фатима, проходя,
Как будто мимоходом,
Спросила: – «Что так грустен ты?
Как имя? Кто ты родом?»

– «Я – Тадма, Асра – родом я», –
ответил он уныло, –
«Полюбит Асра – он умрет»;
«Любовь для нас – могила!..»

Порой вечерней каждый день
Гуляет дочь султана,
И с каждым днем грустней, бледней
Невольник у фонтана.

Deutschland.
Ein Wintermärchen. Caput II

Während die Kleine von Himmelslust
Getrillert und musiziert,
Ward von den preußischen Douanièrs
Mein Koffer visitiret.

Beschnüffelten alles, kramten herum
In Hemden, Hosen, Schnupftüchern;
Sie suchten nach Spitzen, nach Bijouterien,
Auch nach verbotenen Büchern.

Ihr Toren, die Ihr im Koffer sucht!
Hier werdet Ihr nichts entdecken!
Die Kontrebande, die mit mir reist,
Die hab' ich im Kopfe stecken.

Из поэмы «Германия. Зимняя сказка», сб. «Новые стихотворения». Оpubл.: 1844.

**Дуралеи.
(Из Г. Гейне)**

Дуралеи! Дуралеи!
Книжек все они искали, –
Чтоб запретные идеи
К нам в отчизну не попали.

Перерыли чемоданы,
Все до нитки осмотрели,
Даже в задние карманы
Под сюртук они глядели!

В голове лишь ротозей
Посмотреть не догадались:
Ах! А в ней-то и скрывались:
Контрабандные идеи!

Литература

Никонова Н.Е. Переводы немецкой литературы и лирика Г. Гейне на страницах томской периодики рубежа XIX–XX вв. // Знаменские чтения: Филология в пространстве культуры. – Тобольск, 2007. – С. 24–27.

Серягина Ю.С. Переводы из Генриха Гейне на страницах сибирской периодики рубежа XIX–XX веков // Русская литература в современном культурном пространстве : Сборник статей по материалам VII Всероссийской научной конференции (30–31 октября 2015 г.). – Томск : Издательство ТГПУ, 2015–2016. – С. 195–203.

Серягина Ю.С. Псевдопереводы произведений Г. Гейне на страницах сибирской периодики рубежа XIX–XX веков // Иностраный язык и межкультурная коммуникация : Материалы X международной студенческой научно-практической конференции. – Томск : Издательство ТГПУ, 2016.

Серягина Ю.С. Подражания поэзии Г. Гейне в сибирских периодических изданиях 1880–1910-х гг. // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения : Сборник материалов III Международной научно-практической конференции молодых учёных. – Томск : Изд-во Том ун-та, 2016.



Николаус Ленау
(Nikolaus Lenau, 1802–1850)

Николаус Ленау (Lenau, Nikolaus; 1802–1850) – талантливый австрийский поэт-романтик начала XIX века, настоящее имя – Николаус Франц Нимбш Эдлер фон Штреленау. Увлекался поэзией с юности, но впервые его имя появится в печати лишь в 1827 г. Ленау при жизни попал в разряд «классиков» на родине, хотя переводы его лирических стихотворений на русский язык были, главным образом, рассеяны по журналам. В первые два десятилетия XX века к творчеству Ленау обращаются известные русские поэты-символисты В. Брюсов и К. Бальмонт. Отдельными изданиями в России четырежды выходили некоторые стихотворения Ленау: в 1862 г. в переводе И. Чижова (Стихотворения), в 1913 г. (Избранные стихотворения в переводах русских поэтов: СПб.), в антологии Н.В. Горбеля в 1877 г. и позднее в переводе В. Левика в 1956 г. (Н. Ленау. Стихотворения. Ян Жижка).

Переводы

Первые переводы поэзии Ленау появляются в «Сибирском вестнике» в 1892 и 1893 гг. – это стихотворение «Зимние песни» («Winternacht») в переводе неизвестного автора и «К моей гитаре» («An meine Gitarre») в переводе П. Черевича. В 1912 г. на страницах газет «Сибирский вестник» и «Сибирская жизнь» появляются переводы сразу трех стихотворений Н. Ленау: «Закат солнца» («Sonnenuntergang») из цикла «Камышовые песни» («Schilflieder»), «Торжество любви» («Liebesfeier»), «Укор» («Vorwurf») в переводе И. Иванова. Поэзия Ленау метафорична, в ней удивительная тонкость пейзажей различных времен года сочетается с романтической символикой. Свои субъективные ощущения лирический герой переносит на явления природы, но находит лишь признаки бренности всего земного. Для австрийского поэта характерно романтическое двоемирие: пластичность образов и внутренняя трагедия, что удаётся передать сибирским переводчикам.

Публикации (переводы)

Зимние песни (Из Ленау) // Сибирский вестник. – 1892. – № 146. – С. 1.

К моей гитаре (Из Ленауских мотивов) // Сибирский вестник. – 1893. – №31. – С. 2.

Упрек (Из Ленау) // Сибирская жизнь. – 1912. – №43. – С. 3

Праздник любви (Из Ленау) // Сибирская жизнь. – 1912. – № 86. – С. 2.

Песня в камышах (Из Ленау) // Сибирская жизнь. – 1912. – № 149. – С. 3.

Оригиналы

Nikolaus Lenau. Sämtliche Werke und Briefe. Herausgegeben von Walter Dietze. – 2 Bände. – Insel-Verlag Leipzig, Frankfurt a. M., 1970. – S. 356.

Литература

Никонова Н.Е., Серягина Ю.С. Поэзия Н. Ленау на страницах томской периодики начала XX в.: резонансы переводческого восприятия // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2015. – № 6. – С. 196–200. <http://www.univ-orel.ru/disert/sbornik/201506.pdf>

Winternacht

1.

Vor Kälte ist die Luft erstarrt,
Es kracht der Schnee von meinen Tritten,
Es dampft mein Hauch, es klirrt mein Bart;
Nur fort, nur immer fortgeschritten!

Wie feierlich die Gegend schweigt!
Der Mond bescheint die alten Fichten,
Die, sehnsuchtsvoll zum Tod geneigt,
Den Zweig zurück zur Erde richten.

Frost! friere mir ins Herz hinein,
Tief in das heißbewegte, wilde!
Daß einmal Ruh mag drinnen sein,
Wie hier im nächtlichen Gefilde!

2.

Dort heult im tiefen Waldesraum
Ein Wolf; – wie's Kind aufweckt die Mutter,
Schreit er die Nacht aus ihrem Traum
Und heischt von ihr sein blutig Futter.

Nun brausen über Schnee und Eis
Die Winde fort mit tollem Jagen,
Als wollten sie sich rennen heiß:
Wach auf, o Herz, zu wildem Klagen!

Зимние песни (из Ленау)

1.

Застыл весь воздух, словно лед;
Дыханье инеем струится,
А я, безумный, мчусь вперед,
Лишь снег скрипит, да пар клубится.
Торжественно вся даль молчит,
И месяц сосны озаряет;
Их ряд в тоске немой стоит
И ветви к смерти простирает.
Мороз! Войди ж в мою ты грудь!
Пусть в сердце пылком воцарится
Один хоть раз, хоть как-нибудь,
Покой, что здесь кругом ложится.

II.

Вот волк завыл в глуши лесной,
И воем будит он дубраву,
Как мать – ребенка в час ночной,
Добычу чует он кроваву.
А вьюга саван снежный рвет
Безумно на степном просторе
И дико стонет и ревет.
Откликнись ей ты, сердце, в горе!
И страшных рой мучений весь
И все, чем билось ты так нежно,
Отдай порывам бури здесь,
Отдай ты вьюге здесь мятежной.

Laß deine Toten auferstehn,
Und deiner Qualen dunkle Horden!
Und laß sie mit den Stürmen gehn,
Dem rauhen Spielgesind aus Norden!

An meine Gitarre

Gitarre, wie du hängst so traurig!
Die Saiten tönen nimmermehr,
Die längst zerrißnen wanken schaurig
Im Abendwinde hin und her.

Auch deine Saiten sind zerrissen,
Es schweigt dein süßer Liederklang,
Seit in des Busens Finsternissen
Mir jede frohe Saite sprang.

Mir sank der Freund voll Jugendblüte
Hinunter in die Todesflut;
Die meiner Lieb entgegenglühte,
Nun bei den kalten Toten ruht.

Doch will ich euch nun frisch besaiten,
Dich, meine Leier! dich, mein Herz!
Rückbannen die entflohenen Zeiten,
Die alte Lust, den alten Schmerz.

Hinaus ins Dunkel jener Eichen!
Dort findet sich der alte Lauf;
Dort stören wir die Liederleichen
Aus ihren stillen Gräbern auf.

**К моей гитаре.
(Из Ленауских мотивов)**

О, как давно и терпеливо
Молчишь, гитара, ты со мной!
Обрывки струн твоих тоскливо
Колышет ветер лишь порой.

С тех пор замолкла здесь ты скучно,
Не стала песнь твоя слышна,
Как в сердце вдруг моем беззвучно
Веселья лопнула струна.

А прежде иначе бывало,
Когда был жив мой прежний друг...
Но только лишь его не стало,
Затихло грустно все вокруг.

Проснись, гитара! Вспомним снова
Пору счастливых, светлых грез,
Пору веселья молодого
И жгучих, безответных слез.

Скорей же в лес! Под тенью буков
С тобой мы снова оживем
И чудный рой забытых звуков
К себе из рая призовем.

Wenn erst die Lieder nur erwachen,
Dann ruft, dann zieht ihr lauter Chor
Die Lieben all in meinen Nacken
Aus dunkler Todesflut empor.

Es klingt! – doch fliehn im scheuen Fluge
Die Töne auf von meiner Hand;
So eilt, verspätet, nach dem Zuge
Das Vöglein übers Heideland.

Jetzt bin ich meines Herzens Meister!
Nun rauscht wie einst der Sturmakkord!
Schon springen die versunkenen Geister
Herauf, herauf an meinen Bord!

O du, mein Freund, so treu und bieder!
Wohl mir, du bist mir wieder nah!
Dem süßes Wort auch hör ich wieder:
Mein holdes Mädchen, bist du da? –

Doch nein! mich höhnten finstre Mächte!
Wo ist der Freund? das blonde Kind?
Der Nebel reicht mir keine Rechte;
Durch blonde Disteln saust der Wind!

Sonnenuntergang («Schilflieder»)

1

Sonnenuntergang;
Schwarze Wolken zieh'n,
O wie schwül und bang
Alle Winde flieh'n!

2

Durch den Himmel wild
Jagen Blitze bleich;

Пускай аккорды все проснутся!
На их могучий, страстный зов
Толпой виденья принесутся
Из темных к нам своих гробов.

Чу! Первый звук слетел вдруг вяло,
С тоской из-под руки моей,
Подобно птичке запоздалой,
Что стаи не найдет своей.

Но вот, – с волшебной прежней силой
Аккорды дивные звучат,
И призраки толпою милой
Со всех сторон ко мне спешат.

Ты здесь, голубка дорогая!
Твои я вижу здесь черты!
Тебя я долго звал, рыдая...
Скажи, родная, это ты?

Она молчит... Мне нет привета.
О где же ты, мой бледный друг?
А лес шумит, – и без ответа
Темнеет тихо все вокруг.

П. Черневич

Песня в камышах (Из Ленау)

Вереницею туч
Солнце скрыто внизу.
Как удушлив и жгуч
Всякий ветер в грозу!

Небо темное вмиг
Жалют молнии, жгут;
Тот изменчивый лик
Повторяет мой пруд.

Ihr vergänglich Bild
Wandelt durch den Teich.

3

Wie gewitterklar
Mein' ich Dich zu seh'n,
Und dein langes Haar
Frei im Sturme weh'n!

Liebesfeier

An ihren bunten Liedern klettert
Die Lerche selig in die Luft;
Ein Jubelchor von Sängern schmettert
Im Walde, voller Blüt und Duft.

Da sind, so weit die Blicke gleiten,
Altäre festlich aufgebaut,
Und all die tausend Herzen läuten
Zur Liebesfeier dringend laut.

Der Lenz hat Rosen angezündet
An Leuchtern von Smaragd im Dom;
Und jede Seele schwillt und mündet
Hinüber in den Opferstrom.

Если б в дни душных гроз
Ты, любовью маня,
Ароматом волос
Обвевала меня!

И. Иванов

Праздник любви (из Ленау)

Вверх по своей узорной песне
Порхает жаворонок. Хор
В лесу, в цветах еще чудесней,
Лес дышит весь и нежит взор!

Скользящий луч, далекий, ломкий,
В лесу возносит алтари.

И неотступной жизни громкий
Гимн душ поется до зари.

В смарагдах неба розы тают,
Весна зажгла пламенники –
И души, взлет свершив, немеют
В потоке жертвенной тоски.

И. Иванов

Vorwurf

Du klagst, daß bange Nehmuth dich beschleicht,
Weil sich der Wald entlaubt,
Iind über deinem Haupt
Dahin der Wanderzug der Vögel streicht.
O klage nicht, bist selber wandelhaft;
Denkst du der Liebesglut?
Wie nun so traurig ruht
In deiner Brust die müde Leidenschaft!

Из сборника избранных сочинений и писем («Sämtliche Werke und Briefe»), 1848.

Упрек (Из Ленау)

Ты сетуешь, что грусть к тебе подкралась злая,
Когда прощался лес с листвою,
И над твоею головой
Птиц южных пролетала стая.
Не сетуй, сам ты в той же вечной власти.
В любви ты помнишь полдень твой?
Какой теперь глухой покой
В душе, плененной сном усталой страсти!
И. Иванов



Zeichn. 1872.

Роберт-Эдуард Пруц
(Robert-Eduard Prutz, 1816–1872)

Роберт-Эдуард Прутц (Robert-Eduard Prutz, 1816–1872) – немецкий поэт, драматург и историк литературы. Известность ему принесли политические стихи, в которых он, несмотря на жесткую цензуру и последующее в итоге преследование властей, резко критиковал государственное устройство Германии.

Поэзия Прутца была интересна и актуальна для российского читателя. Известны поэтические переводы из Прутца, выполненные О. Чюминой, А.Н. Плещеевым, Р. Нудельманом и др. Сибирский читатель имел возможность познакомиться с образцом поэзии Прутца на страницах «Сибирского вестника», в 57-м номере которого за 1905 год в рубрике «Маленький фельетон» было опубликовано его стихотворение из сборника «Gedichte: neue Sammlung» (1843) «Alter und Jugend» («Старик и юноша») в переводе Г. Вяткина.

На данный момент рецепция творчества Прутца в Сибири не изучена, помимо одного перевода упоминаний его имени в сибирской периодике не обнаружено.

Публикации (переводы)

Прутц Р.-Э. Из Роберта Прутца / Г. Вяткин // Сибирский вестник. – 1905. – № 57 (13 марта). – С. 3.

Оригиналы

Prutz R.E. Gedichte : neue Sammlung. Zürich, 1843.

Alter und Jugend

Ihr könnt nicht uns verstehen
Und wir nicht Euren Rath:
Wohlan, so laßt uns gehen
Ein Jeder seinen Pfad.
Ihr legt die Stirn in Falten,
Ihr nennt Euch selbst die Alten,
Die Nüchternen, die Kalten:
Und wir sind jung und wir sind frisch
Und wir sind rasch und wir sind risch,
Das kann nicht Friede halten.

Wir wollen Euch nicht zürnen,
Ade, Ihr alten Herrn!
Vor Euren kahlen Stirnen
Beugt unser Knie sich gern.
Doch sagt, vor unsern Locken,
Vor unsers Flaumes Flocken,
Warum steht ihr erschrocken?
Auch Euer Haupt war einmal braun,
Auch Euer Auge konnte thaun,
Nun aber ist es trocken.

Ihr habt ihn längst verloren,
Den Blick für unsre Welt,
Euch dünkt ein Spott der Toren,
Was uns die Seele schwellt.
Ihr mögt nur immer sagen,
Bedauern und beklagen:
Uns packt es an und reißt es fort,
Nun sind wir hier, nun sind wir dort,
Wir wollen einmal wagen.

Lebt wohl! – zum letztenmale
Kreuzt unsre Bahn sich hier:
Ihr geht gemacht im Thale,

Из Роберта Пруца

Наш час пробил! Прощай, о старость!
Тебе нас, юных, не понять:
Ты, утомленная, больная,
Не можешь верить и желать.
Твое мертвящее смирение,
Твое бесстрашие – чужды нам:
Не прикоснемся с поцелуем
Мы к истлевающим гробам.

Все, чем душа твоя горела
В былые дни, давно-давно,
Тобой осмеяно, забыто,
На дне души погребено...
Покой один ты ценишь. Счастье
В покое этом обрела:
И ни одна живая дума
Не тронет мертвого чела...

Наш час пробил! Нас в даль живую
Зовет житейский океан.

Не страшны нам порывы бури,
Не страшен тягостный туман.
Не примираясь с скорбной долей
И поражая силу зла –
Вперед, вселюбящая юность,
И вдохновенна, и светла!

Для отдаленных поколений
Великий свет засветишь ты
О, пусть же ярко, ярче солнца
Горят свободные мечты!
Коль сгинем мы – придут другие:
Нетленно то, чем дух наш жил!
Прощай, дряхлеющая старость!
Нам в путь пора! Наш час пробил!

Г. Вяткин

Auf Klippen wandern wir.
Ruht aus in Abendgluthen
Beim Murmeln kühler Fluthen,
Wie Eure Väter ruhten:
Denkt nie, daß Ihr einst selber so
Wart jugendfrisch und jugendfroh!
Das Herz müßt Euch ja bluten.

Du aber, Reich der Jugend,
Steig' auf, du ewig jung,
Du Götterreich der Jugend
Und der Begeisterung!
Und sollten wir verderben,
Wir wollen für dich werben,
Die Zukunft soll dich erben!
Das Alter mag im Lehnstuhl ruhn:
Doch will Gott uns was Gutes thun,
So laß er jung uns sterben!



Густав Фальке
(Gustav Falke, 1853–1916)

Густав Фальке (Gustav Falke, 1853–1916) – немецкий поэт, традиционно воспринимаемый как последователь Гете и Байрона. Легкая, искренняя и мечтательная лирика Фальке достаточно узнаваема и отличается национальной самобытностью. Поэзия Фальке популярна в России, его творчество до сих пор вызывает интерес переводчиков, как профессионалов, так и любителей, а отдельные стихотворения можно встретить в сборниках стихов для детей.

Знакомство сибирского читателя с Фальке состоялось на страницах «Сибирского листка», где в 1903 году был опубликован вольный перевод его стихотворения «Lebensläufe» («Жизнеописания») из сборника «Neue Fahrt» (1897), озаглавленный «Из Густава Фальке. Три судьбы» и за подписью «Берлинская корреспонденция для русских газет». На данный момент это единственное установленное упоминание о Фальке на страницах сибирской периодики.

Публикации (переводы)

Фальке Г. Три судьбы // Сибирский листок. – 1903. – № 38. – С. 2. Подпись: Берлинская корреспонденция для русских газет.

Оригинал

Falke G. Der Frühlingsritter // Gesammelte Dichtungen von Gustav Falke. Dritter Band. Hamburg und Berlin, 1912.

Lebensläufe

Drei kleine Knaben
Hüteten die Gänse,
Hatt' jeder seine Gaben,
und wurde große Hänse.

Einer ward ein Schneider,
Der hatte zehn Gesellen,
Dem König macht' er Kleider,
Dem Narren eins mit Schellen.

Der andre nahm 'ne Pfarre,
Wusch allem Volk die Köpfe,
Der Herr lohnt ihm die Quarre
Und füllt ihm Tasch und Töpfe.

Der dritte ward ein Schreiber,
Hat schöne Lieder gesungen,
Die Kinder und Weiber
Sind um ihn herumgesprungen.

Der Schneider kriegt 'nen Orden,
Der Pfarrer kriegt die Gicht,
Der Schreiber ist verdorben,
Wo, weiß man nicht.

Три судьбы

Я знал трех мальчуганов
На родине своей
Все три пасли баранов,
Овец, коров, свиней.

Один теперь портной.
Он отрастил брюшко,
прославил свой покрой
и метит далеко.

Другой стал клерикалом.
Корит он зло, обманы,
и подаянья валом
валят в его карманы.

А третий стал поэтом,
слагал стихи и песни,
хотя на свете этом
есть надо, как известно.

Был одарен портной
за швальные заслуги.
Вошел в чины второй
за ловкие услуги.

За оды и сонеты
пожалован ли третий?
Ах, нет судьбы на свете
грустней судьбы поэта!

Я слышал и о нем:
жил в вечной суете
за ломаным грошом
и умер в нищете.



Фридрих Вильгельм Ницше
(Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844–1900)

Фридрих Вильгельм Ницше (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844–1900) – немецкий философ, писатель, филолог, композитор и поэт, имя и наследие которого уже почти полтора века выступает продуктивным имагологическим конструктом, зачастую больше говорящим о состоянии воспринимающей культуры. Латентная функциональность его произведений достигает искомой цели, порождая отличные, сменяющие друг друга варианты понимания, толкования, представления учения мыслителя в разных национальных, историко-культурных, индивидуальных измерениях.

Идеи Ницше стали предметом оживленных дискуссий в России еще в 1890-х гг., когда появились первые переводы и критические статьи, как ницшеанского, так и антиницшеанского толка.

В 1894–1907 гг. в сибирской печати («Сибирский вестник», «Сибирская жизнь», «Сибирские отголоски») развернулась оживленная дискуссия о Ницше и его идеях, участниками которой стали видные общественные деятели Томска: Петр Иванович Макушин, Рафаил Львович Вейсман, сформулировавший правовые основы областничества Сибири; правнук Н. Лобачевского, поэт и переводчик Василий Эдуардович Дембовецкий; авторитетный литературный критик Петр Львович Черневич.

Критическое восприятие

Впервые имя философа появляется в 1895 г. в рубрике «Очерки заграничной жизни». П.Л. Черневич сообщает читателю о выходе скандально известной книги Ницше «Антихрист» и некоторых обстоятельствах ее издания. Этот краткий отзыв представляет собой пример негативного восприятия фигуры философа, предстающего в образе помешанного. В том же году Черневич продолжает свою ницшеану в анализе романа Д.С. Мережковского «Отверженный» (1895). Рецензент отзывается о произведении одобрительно, прочитывая его ницшеанские мотивы адекватно современности. Сверхчеловек Ницше, а за ним и Мережковского, предстает в статье сибирского критика последним романтиком.

Образ сумасшедшего философа Черневич разворачивает в своей следующей подробной статье «Проповедь безумца» (1895). На риторический вопрос «Не безумец ли он, не зазнавшийся ли пророк?» автор очерка дает утвердительный ответ, подчеркивая, что душевный недуг – воздаяние, постигшее «странного апостола» («судьба страшно наказала его»).

В год смерти философа в сибирской печати появляются две заметки: тобольский «Сибирский листок» отзывается перепечаткой некролога, а в Томске, в «Сибирском вестнике», выходит объемная работа в двух частях известного правозащитника, общественного деятеля российского масштаба Р.Л. Вейсмана «Мораль Фридриха Ницше и преступность. Эскиз». Выбор темы в общем продиктован профессиональными интересами разделявшего взгляды областников автора, добивавшегося особого правового статуса для Сибири, а также ее актуальностью для региона.

Вейсман обращается к трем работам Ницше: «Помрачение кумиров» (более известное под заглавием «Сумерки кумиров (идолов), или Как философствуют молотом», 1888), «По ту сторону добра и зла» (*Jenseits von Gut und Böse*, 1886) и «Так говорил Заратустра» (*Also sprach Zarathustra*, 1883–1885). На основе этих сочинений адвокат раскрывает основные концепты философии права германского мыслителя, как-то: нравственность, «мораль господская» и «мораль рабская», «наказание» и «улучшение», «дисциплина расы», «преступник» и «патология».

Ницшеана на страницах томской периодики 1900-х продолжилась благодаря стараниям, пожалуй, самого видного из сибирских просветителей и еще одного ссыльного поэта. В 1903 г. П.И. Макушин анонсировал в «Сибирской жизни» издание только что вышедшего труда немецкого профессора Г. Файгингера «Ницше как философ» (*Nietzsche als Philosoph*, 1902, до 1916 четырежды переиздавался в Германии).

Литературное усвоение образа Ницше

В следующем году после выхода заметки Черневича на страницах «Сибирского вестника» появляется произведение автора, подпи-

савшегося псевдонимом Рафаил Лем'блан, – «Элегии в прозе». Одна из двух частей этого сочинения «П. Философ (по поводу Ницше)» представляет оригинальную вариацию образа раскаявшегося мыслителя и его смерти, которая последовала только в 1900 году (!).

В элегии Лем'блана образ дан в линейной драматической динамике. В начале произведения перед нами холодный философ, который руководствуется только логикой и рассудком, который «бил и метал предания людей, их веру, Бога, идеалы, их увлечения и ошибки, их горести и радости мгновения». Такой образ Ницше, который «мечтаньям чуждый поклонялся лишь рассудку», совершенно противоположен портрету, созданному Черневичем. Однако этот характер во многом необходим автору элегии для разворачивания контраста во второй части текста, где возникает образ сумасшедшего философа.

В финале элегии Лем'блан вводит фигуру матери Ницше, «измученной горем» и пробудившей сына от безумия своим шепотом: «очнись, сын мой, очнись хоть на миг!». Возвратившись на этот зов в «мир разумный» лишь на мгновение, Ницше раскаивается и просит мать сжечь созданные им книги, после чего умирает. Элегия предоставляет понятный автору и читателю образ Ницше сквозь призму его биографического мифа, элементы которого имелись и в статье Черневича. Лем'блан продолжает заявленную критиком тему безумия, возвращая сюжет о Ницше в христианское русло.

Переводы

Автор томских переводов подписался псевдонимом «Вас. Павлоградский», за которым скрывался внук Н.И. Лобачевского, талантливый студент Императорского Томского университета Василий Эдуардович Дембовецкий (1883–1944), высланный из Петербурга и исключенный из Санкт-Петербургского университета, где он учился на словесном отделении историко-филологического факультета, за участие в забастовках и стихотворение «Памяти павших» (1905). Будущий поэт, автор нескольких книг стихов, знакомец М.И. Цветаевой и М.А. Волошина, Дембовецкий естественным образом не

мог пройти мимо феномена Ницше: он выбирает отрывки № 14 и № 63 из 64 эпиграмм стихотворного пролога к книге Ницше «Die Fröhliche Wissenschaft» (1881–1882).

Композиция книги составлена из 5 частей и более 380 прозаических отрывков, а также стихотворных пролога и финала, в которых Ницше рассуждает о природе и искусстве, о логике и сущности зла, впервые в этом сочинении появляется метафорическая максима – «Бог умер». Категория «веселого» восходит к провансальской литературе XIII–XVI вв., и в частности – к Тулузской школе трубадуров, где «веселой наукой» («la gaja scienza») называли не что иное, как искусство поэзии, воспевавшей божественную и куртуазную любовь.

Восприятие Ницше в дореволюционной периодике Сибири включает в себе законченную рецептивную историю, объединяя прецеденты критического, переводческого, эдиционного и творческого усвоения. Идеи немецкого философа экстраполируются в сочинениях и заметках Макушина, Черневича, Вейсмана, Лемблана и Дембовского на явления и интересы региона, в результате идеализация высоких образов ницшеанской философии преобладает над отрицанием ее деструктивных интенций. Организующим началом в этом ницшеанском дискурсе является стремление разобраться самостоятельно в вопросах философии и морали, психологии личности новаторского немецкого учения, ориентируясь на интересы и нужды читающей публики. Поэтому Ницше и его труды для публицистов, обозревателей, просветителей, поэтов, сошедшихся в единый журналистский круг сибирских газет 1890–1900 гг., становятся импульсом для оригинальной, живой дискуссии об обществе и искусстве, праве, литературе и морали.

Публикации

[Черневич П.Л.] Очерки заграничной жизни // Сибирский вестник. – 1895. – № 27. – С. 2. Подпись: П.Ч.

[Черневич П.Л.] Журнальное обозрение // Сибирский вестник. – 1895. – № 93. – С. 3. Подпись: П.Ч.

[Черневич П.Л.] Проповедь безумца. Будьте радостны и веселы, как я. Фр. Нитче // Сибирский вестник. – 1895. – № 151. – С. 2–3. Подпись: П.Ч.

Элегии в прозе// Томский листок. – 1896. – № 27. – С. 2. Подпись: Рафаил Лем'блан.

Фридрих-Вильгельм Ницше (Некролог) // Сибирский листок. – 1900. – № 70. – С. 3. Подпись: «Кур.»

Вейсман Р.Л. Мораль Фридриха Ницше и преступность. Эскиз // Сибирский вестник. – 1900. – № 216. – С. 2–3.

Вейсман Р.Л. Мораль Фридриха Ницше и преступность. Эскиз (Продолжение) // Сибирский вестник. – 1900. – № 218. – С. 2–3.

Макушин П.И. Файгингер. Ницше как философ // Сибирская жизнь. – 1903. – № 41. – С. 3.

[Дембовецкий В.Э.] Из Ницше (Из «Пролога к веселой науке») // Сибирские отголоски. – 1907. – № 82. – С. 2. Подпись: Вас. Павлоградский.

Оригиналы

Nietzsche F. Die fröhliche Wissenschaft. ("la gaya scienza"). Режим доступа: <http://www.magister.msk.ru/library/babilon/deutsche/nietz/nietz11g.htm>. Дата обращения: 26.05.2016.

Литература

Никонова Н.Е., Ковалев П.А., Серягина Ю.С. «И клич об нем и слава мрачного философа легела отовсюду»: Ф. Ницше в зеркале сибирской дореволюционной периодики // Вестник Томского государственного университета. – Филология. – 2016. № 4 (42). DOI: 10.17223/19986645/42/11.

63. Sternenmoral

Vorausbestimmt zur Sternenbahn,
Was geht dich, Stern, das Dunkel an?
Roll' selig hin durch diese Zeit!
Ihr Elend sei dir fremd und weit!
Der fernsten Welt gehört dein Schein:
Mitleid soll Sünde für dich sein!
Nur Ein Gebot gilt dir: sei rein!

14. Der Brave

Lieber aus ganzem Holz eine Feindschaft,
Als eine geleimte Freundschaft!

I. Мораль звезд

Назначен путь тебе, звезда,
И нет тебе до мрака дела!
Невозмутимо, до предела,
Горя, свершай его всегда.
Миров далеких вечный бег
Пускай следит твое сиянье;
Забудь лишь только состраданье
И чистоту храни вовек
Вас. Павлоградский

II. Мужественность

Лучше из целого выточить разом вражду,
Чем из ничтожных частичек томительно склеивать дружбу
Вас. Павлоградский

ΠΡΟΖΑ



Теодор Герцль
(Theodor Herzl, 1860–1904)

Теодор Герцль (Theodor Herzl, 1860–1904) – основатель политического сионизма, провозвестник еврейского государства, создатель всемирной сионистской организации. В 1884 г. получил степень доктора юридических наук, с 1885 г. посвятил себя литературе. К тридцати годам выступил автором 17 пьес и множества статей и сказок. В 1891–1895 гг. работал парижским корреспондентом влиятельной либеральной венской газеты «Neue Freie Presse» («Новая свободная пресса»). В 1902 г. начал переговоры с британским правительством о предоставлении территории для еврейского государства. В ожидании реакции на свое предложение в 1903 г. посетил Россию. В 1904 г. скоропостижно скончался. Самыми значительными произведениями Теодора Герцля традиционно считаются «Еврейское государство» (1896) и роман-утопия «Altneuland» (в русском переводе «Страна возвращения»), 1902.

Театральные рецензии

Первое сообщение о Герцле в местных литературных газетах появляется 20 октября 1900 г.: в рубрике «Театр и музыка» «Сибирского вестника» анонсируется премьерная постановка в томском театре пьесы Герцля «Новое гетто» («Das Neue Ghetto»), сионистская по содержанию пьеса получает положительную оценку; автор отзыва критикует антисемитизм и подчеркивает непреходящее значение самопожертвования евреев. Рецензент делает акцент на идее Герцля о необходимости разрушения евреями своих «внутренних преград» и отмечает, что пьеса рассматривает «очень жгучий вопрос, разрабатываемый автором к тому же литературно, живо и без нетерпимости в ту или другую сторону».

Постановка пьесы под названием «В Новом гетто» в Тобольске освещается «Сибирским листком» в феврале 1901 г. (№ 11). Рецензент охотно пересказывает сюжет и отмечает, что главный герой «погибает с сознанием исполненного им долга, за права своего народа», а «пьеса производит, благодаря своему направлению, приятное впечатление, хотя многое в ней остается недосказанным, и она мало-сценична». Однако «в общем пьеса прошла хорошо», а «бенефициант свою, хотя и небольшую, но очень благодарную роль (Вассерштейна) провел превосходно».

Критика

Появившиеся 22 января 1905 г., спустя полгода после смерти Герцля, некролог и известия об издании литературного наследия, прокомментированные томским журналистом, представили его как видного мыслителя современности. Был выбран некролог В.Г. Короленко, опубликованный в «Южных записках», потому что, по мнению рецензента, «из всех некрологов Т. Герцля некролог Короленко едва ли не самый теплый и задушевный и верно схватывающий облик “благородного мечтателя”». Сионизм предстал в заметке «психологией благородной мечты о будущем на почве социального консерватизма, а Герцль – наиболее ярким, искренним и цельным ее представителем», романтической фигурой, «сошедшей со сцены в ореол мечты, незапятнанной и чистой». При этом в воплощении этой мечте было отказано тем же автором томской перепечатки.

В следующей за некрологом заметке о неопубликованных произведениях Герцля подчеркивается приоритет его эгодокументов перед литературными и сионистскими текстами: «Друзьями Т. Герцля в настоящее время уже приведено в известность все, что осталось после смерти талантливого писателя и общественного деятеля. Все литературное наследство может быть разделено на две группы: общие литературные произведения и сионистские. <...> Но самым ценным из всего оставшегося после Герцля следует считать его дневник, в котором заключается не только вся история сионистской деятельности его, но и характеристики выдающихся личностей».

Переводы

В 1905 г. в газете «Сибирская жизнь» публикуются три рассказа Теодора Герцля из цикла «Philosophische Erzählungen». Книга «Философские рассказы» вышла в 1900 г. в Берлине. Сборник состоял из семнадцати текстов, написанных с 1887 по 1900 г. Каждый из них представляет собой историю в жанре анекдота с четко сформулированной неожиданной назидательной сентенцией.

Первый русский перевод сборника, подписанный криптонимами «Е.М. и А.К.», вышел в типографии А.Е. Ландау в Санкт-Петербурге (ценз. разр. – 21 июля 1901 г.).

Публикации

- Объявление // Томский листок. – 1897. – №46.
- Т. Герцль. В новом гетто // Сибирский вестник. – 1900. – № 231.
- Т. Герцль. В Новом Гетто // Сибирский листок. – 1901. – № 11 (февраля).
- Т. Герцль. Сын. Пер. с нем. // Сибирская жизнь. – 1905. – № 213. – С. 4.
- Т. Герцль. За кулисами. Пер. с нем. // Сибирская жизнь. – 1905. – № 229. – С. 4.
- Т. Герцль. Гусеница. Пер. с нем. // Сибирская жизнь. – 1905. – № 245.
- Т. Гецль (некролог) // Сибирский вестник. – 1905. – № 17.

Литература

- Никонова Н.Е., Серягина Ю.С.* Т. Герцль и М. Нордау в зеркале сибирской периодики рубежа XIX–XX вв.: критика, переводы, театральные рецензии // Сибирский филологический журнал. – 2016. – № 2. – Вып. 2.

Die Garderobe

Man klopfte. «Herein!» rief sie; blieb aber bewegungslos auf ihrem unbequemen, gradlehnigen Sessel sitzen. Sie wandte nicht einmal den Kopf; weder nach links, dem hintretenden entgegen, noch auch nach rechts, wo sie ihn hätte im Spiegel erblicken können. Dennoch fragte sie zweimal ungeduldig: «Wer ist es?»

Er hatte nicht geantwortet, sondern war langsam und lautlos auf dem dicken Teppich dieses eleganten Ankleidezimmers an sie herangekommen. Nun stand er vor ihr und sagte: «Wie Sie heute wieder aussehen, Frau Käte!»

«Ah, Sie sind es, Doktor!... Warum blieben Sie nicht ganz ruhig auf Ihrem Parquetsitz, wenn ich Ihnen gefiel? Die Schminke sieht in der Nähe abscheulich aus. Sie werden sich noch alle Ihre Illusionen erkälten!.. Jetzt ist das Unglück geschehen. Sie dürfen da bleiben, ich habe im zweiten Akt nichts zu tun».

Der Doktor saß ihr schon gegenüber und lachte. «Wissen Sie, was mich an Ihnen immer von Neuem betroffen macht? Sie werden es nicht erraten. Sie sind die grösste Künstlerin und eine der schönsten Frauen, die ich kenne. Aber daran habe ich mich allmählich gewöhnt. Sie lächeln spöttisch – genau so wie jetzt – wenn man Ihnen eine Schmeichelei sagt. Das ist auch eine seltene Eigenschaft. Sie sind geistreich und dennoch wahrheitsliebend, in der Kunst wie im Leben. So mehr würdig diese Tatsache auch ist, sie überrascht, mich bei Ihnen nicht mehr, höchstens, dass mich irgend ein neuer Zug, eine Nuance, eine zitternde Feinheit entzückt. Wenn ich Ihnen eine Krankheit im Spital gezeigt habe, wissen Sie derart nachzumachen, dass ich oft von meinem Sperrsitze aufspringen und Ihnen zu Hütte eilen möchte – um Gotteswillen, sie stirbt wirklich!...»

«Werden Sie bald aufhören, mich zu loben, Doktor?»

«Wodurch Sie mich aber immer wieder bis zur Sprachlosigkeit verblüffen, Frau Käte, ist, dass Sie sich so unglaublich schnell anziehen. Das wollte ich sagen.»

Sie lächelte. Dann wurde sie plötzlich ernst und starrte finster vor sich hin nach der Wand, die mit Lorbeerkräuzen, Atlasschleifen, Bildern in reichem Rahmen farbig herausstaffirt war, von Seide und Gold strahlte.

Der Arzt fügte hinzu : «Ich habe die Garderobe mancher Künstlerin gesehen. Da ist ein so fahriges Gethue, eine Unruhe und Aufregung, immer noch ein letzter, ein allerletzter Blick in den Spiegel, noch eine Stecknadel anzubringen unmittelbar vor dem Auftreten.

За кулисами

Раздался стук в дверь.

– Войдите! – воскликнула она, продолжая неподвижно сидеть в неудобном кресле с прямой спиной. Она даже головы не повернула: ни влево, навстречу входящему, ни вправо, где она могла бы увидеть его в зеркале. Тем не менее нетерпеливо спросила дважды: «кто это?».

Не отвечая на вопрос, он медленно и беззвучно ступая по толстому ковру этой богатой уборной, подошел к ней. И вот он стоит перед ней и говорит: «Как вы сегодня опять хороши, фрау Кэт!»

– А, это вы, доктор... Но почему вы не остались преспокойно на своем месте, если я вам понравилась? Ведь грим вблизи имеет отвратительный вид, и вы можете разрушить все наши иллюзии... Однако беда совершилась, и вы можете остаться, так как во втором действии мне делать нечего.

Доктор, смеясь, уселся против фрау Кэт и сказал: – Знаете, что меня в вас все снова поражает? Вы не угадаете. Вы величайшая артистка и одна из красивейших женщин, которых я знаю. Но к этому я постепенно привык. Вы насмешливо улыбаетесь – вот точно так, как сейчас, – когда вам говорят любезности. Это такое редкое качество. Вы остроумны и в то же время правдивы в искусстве, как и в жизни. Но как эти факты ни удивительны, меня они в вас уже больше не поражают. Разве только новая черта, новый оттенок, удивительная тонкость приводит меня в восхищение.

Если я показывал вам в больнице какую-нибудь болезнь, вы до такой степени умели подражать ей, что мне часто хотелось вскочить со своего места и поспешить к вам на помощь. – Боже мой, она действительно умирает...

– Скоро ли вы перестанете хвалить меня, доктор?

– Ну чем вы меня все снова и снова поражаете, фрау Кэт, это – что вы так невероятно быстро одеваетесь. Вот это я вам хотел сказать.

Фрау Кэти улыбнулась. Затем стала вдруг серьезной, устремив мрачный взор на стену, увешанную лавровыми венками, атласными лентами, картинами в дорогих рамах и сверкающую шелком и золотом.

Sie dagegen, obgleich Sie die wichtigste Person sind, sitzen längst fertig da, und vor der Tür Ihre Dienerin wie eine gelassene Schildwache.»

«Sagen Sie Schildwache, dass ich jetzt keinen Besuch empfangen, und ich werde Ihnen erzählen, wie ich das lernte, was Sie so außerordentlich bewundern. Vielleicht wäre ich nie geworden, was ich bin, wenn ich das nicht hätte erleben müssen.»

Der Doktor kam von der Türe zurück und setzte sich wieder hin. Eine Geschichte?

«Ja, wohl», sagte sie dumpf; eine häßliche, kleine Geschichte. So wahr und abstoßend wie eine der Krankheiten, die Sie mir im Spital zeigten. Ich will Ihnen Revanche geben.

Das war vor vierzehn oder fünfzehn Jahren. Ich zog damals kreuz und quer durch die Provinz als Mitglied kleiner Schauspielertruppen. Heute da, morgen dort. Ich möchte das nicht noch einmal durchmachen... Ich habe zuweilen Fieberträume, in denen ich angstvoll glaube, noch einmal übers Moor gehen zu müssen bei Nacht, oder dass ich abermals bei dem Herrn Direktor Lemke Engagement nehmen müsse, um nicht zu verhungern...

Unter einer «Schmiere» stellen Sie sich gewiß etwas recht Humoristisches vor, wie? Es ist ganz einfach entsetzlich das Elend der Namenlosen, dieses namenlose Elend.

Wie tief man sich da für ein Stück Brot bemühen lässt, welche Gemeinheiten man begeht... Nein, ich will mich nicht aufregen. Ich werde mir denken, dass eine andere Person diese Dinge erlebt habe. Das junge Mädchen, welches damals in zerrissenen, aufgebohenen Stiefletten die regenzerweichte Landstrasse hinschritt, war ja auch eine ganz andere, als ich jetzt bin. Sie sehen mir heute nicht mehr an, wie hässlich und mager ich gewesen. Eine Vogelscheuche. Was man gegenwärtig mein «edles Profil» nennt, war zu jener Zeit eine ganz gewöhnliche krumme Nase. Der Kopf saß mir vorgeneigt auf schmalen, spitzen Schultern; diese Hände waren knochig und rot. Nie verirrte sich das Liebenswort eines Mannes zu mir, und Sie wissen vielleicht, wie schnell die Herren sich dazu entschließen, wenn sie nicht geradezu etwas Abstoßendes vor sich haben. Namentlich die Kollegen paaren sich überraschend leicht. Wenn das Engagement zu Ende ist, löst sich ja auch das Verhältniss zu Der oder Dem. Man hat seine Freiheit wieder, ohne dass man sich jedoch während der Dauer des Verhältnisses gar zu ängstlich für gebunden gehalten hätte.

Доктор прибавил: – Я видел уборные многих актрис. Там царит вечная суета и волнение, всегда бросается еще последний взгляд в зеркало, прикалывается еще булавка перед самым выходом. Вы же, несмотря на то, что вам принадлежит первая роль, давно уже сидите одевшись, и служанка ваша, точно часовой, спокойно стоит у дверей.

– Скажите часовому, что я сейчас не принимаю, и расскажу вам, как я научилась тому, чему вы так удивляетесь. Быть может, я не стала бы тем, что я теперь, если бы не пришлось пережить того, что я пережила.

Доктор вернулся на свое место. «Историю?» – спросил он.

– Да, – проговорила она глухо, – отвратительную, маленькую историю. Столь же истинную и отталкивающую, как одна из болезней, которую вы показали мне в больнице. Я хочу вам отплатить.

Дело было лет четырнадцать или пятнадцать тому назад. Я тогда изъездила всю провинцию в качестве члена маленькой драматической труппы. Сегодня здесь, завтра там. Мне не хотелось бы еще раз пережить все это... У меня бывают иногда лихорадочные сны, что мне снова приходится ночью пробираться через болото или что я снова вынуждена поступать в труппу директора Лемке, чтобы не умереть с голода...

Каким унижениям приходится подвергаться из-за куска хлеба, какие подлости делать... Но я не хочу волноваться. Я представляю себе, что не я, а другое лицо пережило все это. К тому же та молодая девушка, которая в то время в порванных штиблетах пробиралась по размокшей дороге, была совершенно другая, чем я теперь. Глядя на меня, вы не поверите, как я была худа и некрасива. Настоящее пугало. То, что теперь называют моим «благородным профилем», было в то время самым обыкновенным горбатым носом. Голова, всегда наклоненная вперед, сидела на узких, острых плечах; руки эти были костлявы и красны. Никогда не выпадало на мою долю слова любви; а вам, вероятно, известно, как быстро мужчина решается на это, если только не иметь перед собою чего-нибудь положительно отталкивающего. В особенности сослуживцы сблизжаются поразительно легко. Когда ангажемент кончается, кончается и связь с тем или той. Снова приобретаешь свободу, не чувствуя себя, впрочем, слишком связанным и во время самой связи.

О себе я не могу сказать, что устояла против соблазна, ибо никто меня не соблазнял. Я служила лишь мишенью для товарищеских

Ich kann nicht sagen, dass ich der Verführung widerstanden habe; denn es nahm sich keiner die Mühe. Ich war nur das Zielblatt kameradschaftlich roher Späße, und das Gewieher jedes Spott lustigen Publikums galt vor allem mir. Meine Häßlichkeit war wohl hauptsächlich schuld daran, aber ich spielte auch schlecht; schlechter noch als Jene, die kein Talent hatten. Ich besaß nämlich schon damals Ohr für meine eigene Rede und Augen für meine Bewegungen. Kaum war mir ein Ton entgleist oder eine Gebärde missraten, so empfand ich es blitzartig, verlor alle Fassung und stockte. Schlimmer noch war meine Befangenheit, die nicht dem üblichen Lampenfieber glich. Denn ich trat immer unerschrocken hinaus, hielt mich sogar gelassen und aufrecht, wenn man zischte oder pfiiff. Nur in den Liebesszenen, die ich zu spielen hatte, überwältigte mich diese Bangigkeit, die eigentlich – Schamhaftigkeit war. Ja, es klingt nährisch: ich schämte mich vor den Zuschauern, wie wenn sie Mitwisser eines zärtlichen Geheimnisses meines Herzens geworden wären; wie wenn die kaschierte Liebeserklärung meines jeweiligen ungeschlachteten Partners wirklich mir gegolten hätte.

Ich bekam ja außerhalb der Bühne nie solch einen heißen Blick oder ein leidenschaftliches Geständnis. Darum verwirrte mich das, verschlug es mir den Atem. Es war Mädchentum in diesem einfältigen Betragen oder, wenn Sie wollen: Keuschheit, Verschämtheit. Nun darf aber eine Schauspielerin brav und tugendhaft sein – und ich kenne genug, die es sind – verschämt darf sie nicht sein. Vom Kopf bis zu den Füßen ist sie immer den gierigen Blicken einer Menge preisgegeben, und wenn sie groß sein will, so genügt es nicht, dass sie eine Seele habe, sie muss diese auch entblößen. Wie weit war ich davon! Meine arme, verschüchterte Seele zog sich scheu zurück, und in einer Welt, wo nur das Geäußerte gilt, lebte ich träumerisch nach innen...Bis endlich jener Vorfall eintrat, von dem die Wendung herdatiert...»

«Eine Liebschaft?» warf der Arzt ein.

Sie lachte kurz und bitter. «Wenn es das gewesen wäre! Ich säße vielleicht heute als Souffleuse in irgend einem Nest. Nein, etwas anderes.

Ich zog damals mit der Gesellschaft des Herrn Direktors Lemke. Dieser Lemke war ein gemütlicher Schuft. Dass er seine Leute übervorteilte und ihnen soviel Arbeit erpresste, als er nur konnte, davon will ich nicht reden. Die eigentliche Lumperei bestand in seinen Nebengeschäften, von denen Sie eines kennen lernen sollen. Dabei hatte er ein rosiges, lächelndes Gesicht, von blonden Locken umwallt, der echte Künstlerkopf.

грубых шуток, и необузданный хохот издевающейся публики относился всегда прежде всего ко мне. Главной причиной этого была моя некрасивая физиономия; но к тому же я плохо играла, хуже даже тех, кто не имел таланта. Уже в то время я относилась критически к своей речи и движениям. С быстротою молнии улавливая неудачный свой тон или жест, я тотчас теряла присутствие духа и начинала запинаться. Но хуже всего было мое смущение, не похожее на лихорадочное волнение: я всегда выходила без страха, даже спокойно выслушивала свистки и шиканье. Только в любовных сценах, которые приходилось проводить, мною овладевала робость или, вернее, стыдливость. Как это ни глупо, но я стеснялась зрителей, точно они стали свидетелями нежной тайны моего сердца; точно объяснение в любви моего неуклюжего партнера, действительно, относилось ко мне.

Вне сцены никогда не выпадало на мою долю ни жгучего взгляда, ни страстного признания. Поэтому-то я на сцене смущалась и задышалась. В этом моем глупом поведении сказывалась девичья скромность, или, если хотите, чистота, стыдливость. Дело, однако, в том, что актриса может быть честна и добродетельна – я много таких знаю, – но она не должна быть счастливой. От головы до ног она всегда подвергается жадным взглядам толпы, если она хочет быть великой, то ей недостаточно иметь душу, необходимо обнаружить ее. А как далека я была от этого! Моя бедная, запуганная душу боязливо пряталась; и в мире, где имеет значение лишь то, что появляется и обнаруживается, я мечтательно уходила в себя... До того случая, который произвел поворот.

– Любовная связь? – заметил доктор.

Фрау Кэт коротко и горько рассмеялась

– Если бы это случилось! Быть может, я и теперь еще сидела бы в качестве суфлерши в каком-нибудь жалком городишке. Нет, то было кое-что другое.

В то время я странствовала с труппой господина Лемке. Этот Лемке изрядный негодяй. О том, как он эксплуатировал своих служащих, я уже не говорю. А главная подлость заключалась в его побочных делах, примером которых может служить то, что вы сейчас от меня услышите. В то же время у него было розовое, улыбающееся лицо, обрамленное русыми кудрями, – голова ху-дожника.

Wir waren in eine geringe Provinzstadt gekommen. Ich sehe sie noch vor mir. Helle, freundliche, leblose Gässchen mit niedrigen Häusern. Der Hauptplatz mit runden, kleinen Steinen gepflastert, zwischen denen luftig das Gras wucherte. Die Sonnenstrahlen glänzten darauf. Nach zwei Tagen war man von der ganzen Bewohnerschaft gekannt und geringgeschätzt. Vor dem Wirtshause «Zum roten Löwen», wo wir spielten, standen, auf den Säbel gestützt, die Offiziere der kleinen Garnison und ließen gewählte Scherze hören, so oft wir vorübergingen. Die besseren Bürger maßen uns wegwerfend, wenn ihre Gattinnen sich in der Nähe befanden, und versengten uns mit verführerischen Blicken, wenn sie allein oder ledig waren. Ich spreche von meinen Kolleginnen; ich war auch denen zu schlecht. Die Männer in den kleineren Städten sind ärger als die in den großen. Sie werden vielleicht wissen, warum?

Wir gaben unsere Vorstellungen im grossen Saale des «Roten Löwen». Es gab da eine hübsche Bühne für die durchreisenden Gesellschaften. Ferner zwei Ankleide-Logen: eine für uns, eine für die Herren; keine Garderobe wie diese da, aber man konnte sich doch aus – und anziehen. Das Ankleidezimmer! Ein wirres Durcheinander von Kostümen, Requisiten, Straßengewändern. Da ist ein Strumpf als Lesezeichen in ein Buch geklemmt, dort steckt das Lockenholz in einem lichten Atlasschuh, dessen Flecken man mit Seite zu putzen versucht hat. An der Wand weiße Unterröcke, die erst wochenlang auf der Szene getragen worden und noch zu gut sind für die Straße. Was da alles umherliegt an der ungehörigen Stelle, golddurchwirkte Gürtel, Lichtscheren, verwittwete Galoschen, leere Schminktöpfe, Notenrollen durch ein Strumpfband zusammengehalten, Unordnung, Schmutz. Die eine legt alle ihre Sachen über einander auf einen Sessel, der schließlich umfällt. Die andere verstreut gleich von vornherein das, was sie brauchen wird. Und über allem liegt eine Wolke von Staub und ein eigentümlich brenzlich schwerer, dumpfer Geruch.

Jene Garderobe war dann der Schauplatz dessen, was ich Ihnen erzähle. Vielleicht finden Sie, dass es keine so grosse Sache gewesen, dass sich das alle Tage ereigne. Ich selbst habe seither diesen anderen Standpunkt kennen gelernt, von dem aus dergleichen nur als grober, jedoch verzeihlicher Spaß erscheint. Dazumal sah ich darin eine Schändung und Brutalität; ich war ja mitten in der Gemeinheit jungfräulich geblieben. So war es. Eines Abends saß ich gleich meinen Kolleginnen kaum bekleidet, dicht an der Holzwand. Hatte ich ein verdächtiges Geräusch dahinter gehört oder war

Мы прибыли в маленький уездный городок. Еще сейчас я вижу его перед собой. Светлые, приветливые, безжизненные улочки с низкими домиками. Главная площадь вымощена круглыми камнями, между которых пробивалась свежая травка, залитая солнцем. Через двое суток все население знало и презирало нас. Перед гостиницей «Красный Лев», где мы давали наши спектакли, стояли, опершись на свои сабли, офицеры маленького гарнизона и отпускали шуточки на наш счет, как только мы проходили мимо. Более важные обыватели города в присутствии жен своих смотрели на нас с презрением, в отсутствие же их – бросали нам обольстительные взгляды. Я имею в виду своих товаров: мною даже здесь пренебрегали. Мужчины, живущие в маленьких городах, хуже, чем в больших. Вы, может быть, знаете, почему?

Мы давали наши спектакли в большом зале «Красного Льва», где была устроена недурная сцена для проезжих артистов. Были две уборные: одна для нас, другая для мужчин. Какой хаос из костюмов, бутафорских вещей и уличной одежды! Здесь чулок служит закладкой в книге, там щипцы засунуты в светлый туфель, чтобы вывести пятна мылом. На стенах белые юбки, ношенные уже несколько недель на сцене, но еще слишком чистые, чтобы надевать их на улицу. Ничего не лежит на своем месте. Затканное золотом пояса, щипцы, галоши, пустые банки от белил, ноты, перевязанные подвязкой, брошены в одну кучу: всюду беспорядок, нечистота! Одна из актрис громоздит свои вещи на стул, пока он не опрокидывается; другая рассыпает с самого начала все, что ей будет нужно. И над всем этим – тонкое облако пыли и какой-то особенный, душливый запах.

Вот эта самая уборная и была местом действия того, что я вам передаю. Быть может, вы найдете, что это был пустяк, заурядный случай. Я сама впоследствии познакомилась с той точкой зрения, с которой подобные вещи являются лишь грубой, но простительной шуткой. Но в это время я видела в этом обесчещение и цинизм: ведь среди всей пошлости я осталась чистой.

Однажды вечером я сидела полуодетая, подобно моим товаркам, у самой деревянной стены. Не знаю, поразил ли меня подозрительный шорох за стеной или мне лишь бросилась в глаза одна из многочисленных дыр от выпавших сучков, я машинально засунула палец в круглое отверстие и попала в человеческий глаз. Раздался подавленный крик. Я сама перепугалась насмерть; другие же ничего не заме-

mir nur eines der zahlreichen Astlöcher aufgefallen, ich steckte gedankenlos den Finger durch die runde Öffnung und – stieß in das Auge eines Menschen. Ein halbunterdrückter Ausruf. Ich selber war zu Tod erschrocken, die anderen hatten nichts gemerkt. Ich brachte kein Wort hervor, warf aber meinen langen Mantel über und eilte hinaus, um mir Gewissheit zu verschaffen, ob man uns wirklich berauschte...Ja. Und nicht etwa nur ein einziger verwilderter Bengel, nein, mehrere Herren. An unsere Garderobe grenzte ein Holzverschlag, in dem sie sich aufgehalten hatten. Ich blieb einen Augenblick im tiefsten Schatten des Hofes hinter einem Wagen stehen, bis ich in der Dunkelheit sah. Da kamen sie auch schon heraus. Ich zählte vier, fünf, ein halbes Dutzend. Einer davon ging unsicher und drückte sich das Taschentuch ans Auge. Offenbar der, den ich getroffen. Wer es war, konnte ich in der Finsternis nicht erkennen. Auch die andern Gestalten waren nicht zu unterscheiden. Da, der letzte, der heraustritt und die Tür leise hinter sich zuzieht, den kenne ich an der runden Figur und dem großen Kopf. Es ist Lemke. Hat er denn nichts bemerkt? Ich eile geräuschlos auf ihn zu. «Herr Direktor!» flüstere ich hastig, «man sieht in unsere Garderobe hinein!» Er kichert halblaut; «Machen Sie sich nichts draus, Ihnen gilt's ja doch nicht!» Er wusste also davon. Ich war entsetzt, empört. Vielleicht erriet er meine Gedanken; denn er fasste nun meine Hand und sagte leise, drohend: «Es soll Ihnen nicht einfallen, Lärm zu machen oder es den Anderen zu erzählen – sonst sind Sie augenblicklich entlassen».

Ich kehrte in die Garderobe zurück. Ich schwieg. Was sollte ich denn tun? Ich musste froh sein, das Unterkommen zu haben. Wo hatte ich die Aussicht, ein Engagement zu erhalten mit meiner körperlichen Erscheinung, die nicht einmal der den Augen dieser verdorbenen kleinstädtischen Wüstlinge Gnade fand, wenn sie hereinspähten? Und obgleich es nicht mir galt, wie Lemke gespottet hatte, kam ich mir dennoch wie entehrt vor. Ich allein? Hatten nicht auch noch andere meiner Genossinnen Kenntnis von dem infamen Vorgang? Wenn eine kokett herumhüpfte oder sich zierlich gebärdete, hatte ich sie im Verdacht. Vielleicht fügte sie sich der gleichen Drohung, unter der ich verstummt war. Vielleicht passte es ihr gar in den Kram? Zwar stieg mir der Ekel bis in den Hals, gern wäre ich auf und davon gelaufen, aber wohin, wohin? Ich blieb. Da haben Sie die versprochene Erklärung: damals lerne ich mich so schnell anziehen. Denn die Kerle hinter den Vorschlag waren alle Abende da, ich weiß nicht, ob es immer dieselben gewesen. Unser Direktor machte jedenfalls gute Geschäfte, wie ich bei Gelegenheit herausbrachte.

Denn er ließ sich dafür bezahlen.

тили. Я не произнесла ни слова и, накинув длинный плащ, поспешила убедиться, действительно ли нас подслушивают. Да. И не только один грубый нахал, нет – несколько мужчин. К нашей уборной прилегла перегородка, куда они и забрались. Я остановилась в глубине двора, за экипажем, пока начала различать в темноте. Затем, когда они стали удаляться, я пересчитала их; их было шесть человек; один закрывал себе глаз платком – очевидно, тот, которого я поразила. В темноте я не могла узнать их. Но вот выходит последний, осторожно притворяя за собою дверь, его я узнала по полной фигуре с большой головой. Это Лемке. Но разве он ничего не заметил? Я неслышно подбегаю к нему: «Господин директор», – говорю я шепотом, – к нам заглядывают в уборную!». А он тихо засмеялся: «Не обращайтесь на это внимания, ведь к вам это не относится». Я пришла в ужас, была возмущена. Лемке, очевидно угадав мои мысли, взял меня за руку и сказал, но угрожающим тоном: «Не вздумайте поднимать суету или сообщить об этом остальным – иначе вы тотчас получите расчет».

Я вернулась в уборную. Я не сказала ни слова. Что же мне оставалось делать? Я была рада, что имею пристанище. Где могла я рассчитывать получить ангажемент с моею внешностью, не одобренной даже этими провинциальными развратниками! И хотя их заглядывание в уборную относилось не ко мне, как глумился Лемке, тем не менее я чувствовала себя как бы опозоренной. Одна ли я? Не знали ли об этом гнусном деле и другие мои товарки? Когда одна из них делала кокетливые движения, у меня являлось подозрение. Быть может, она подчинялась той же угрозе, которая меня заставила молчать, и быть может, это ей на руку? Отвращение душило меня; мне хотелось бежать, – но куда же, куда? И я осталась. Вот вам обещанное объяснение: в это время я научилась так быстро одеваться, так как каждый вечер были за перегородкой зрители; не знаю, впрочем, всегда ли одни и те же? А директор наш, как я узнала впоследствии, обделывал дела: он брал за это плату.

И, видите ли, мне кажется, что с тех пор я начала хорошо играть. Психологически – ведь это ваше выражение? – я точно не могу этого объяснить. Пробудило ли это потрясение дремлющие во мне силы, поглотил ли позор мою стыдливость? Происходила ли страстность моего тона от того, что я всегда находилась под впечатлением этих возмутительных вещей? Стали ли мои движения свободнее, потому

Und sehen Sie, ich glaube, dass ich damals anfing, gut zu spielen. Psychologisch – das ist doch Euer Ausdruck? – kann ich es nicht genau erläutern. Hatte die grosse Erschütterung schlummernde Kräfte in mir ausgelöst, war meine Schamhaftigkeit in der Schande ertrunken? Kam die Leidenschaft meines Tones daher, dass ich immer unter dem Eindruck dieser revoltanten Dinge stand? Bewege ich mich freier, weil ich den Zuschauern nichts mehr von mir zu verbergen hatte? Denn ob ein halbes Dutzend oder die ganze Stadt an den Astlöchern des Holzverschlags gelauert hatte, das war im Grunde gleich.

Man hat mich dann eines Tages «entdeckt» wie eine neue Tierart oder Insel im Meer. Ich bin empor gekommen und freue mich meiner Erfolge. Ich habe es ziemlich weit gebracht, nicht wahr? Ich werde bewundert und beneidet. Nun denn, ich sage Ihnen, wenn ich zehnmal oder hundertmal höher kommen könnte – ich möchte dafür nicht noch einmal durchmachen, was hinter mir liegt. Genug...»

Herz T. Philosophische Erzählungen. Berlin, 1900. S. 151–163.

Sohn

Sterbendes Nachmittagslicht im Marmorsaale des Schwurgerichtes. Die Köpfe der Zuschauer in den hinteren Reihen versinken allmählich in der raschen Dämmerung dieses Wintertages. Nur die in den vorderen Bänken kann der Angeklagte noch von seinem Platze aus unterscheiden. Da sitzen sie, müßig und lernbegierig, die aufgestützte Hand hintern Ohren, die Stammgäste dieses Lokals: kommende Kreditore, beschäftigungslose Advokaten. Und mitten unter ihnen Einer, dessen blaße Züge der Angeklagte so gut kennt: sein Sohn... Weiterhin die Journalisten, blasiert und hastig; tief auf ihr Papier gebeugt, raffen sie Anmerkungen zusammen für das Morgenblatt. Der Angeklagte ist so stumpf durch die zweitägige Verhandlung, in der aller Unrat, alles heimliche Ungemach seines Privatlebens aufgerührt worden, dass er bloß fortwährend mit einem törichten Drange kämpft, aufzustehen und den Vorsitzenden um Licht zu bitten für die armen Schreiber, die sich dort die Augen verderben. Warum man eigentlich die Gasflammen noch nicht angezündet hat? Ach so, um den Redner nicht zu unterbrechen. Der Staatsanwalt hat das Wort.

что мне нечего было скрывать перед публикой? Ведь мне было в сущности безразлично, подсматривало ли через перегородку шесть человек или весь город.

В один прекрасный день меня «открыли», как новую породу животных или новый остров. Я приобрела известность и пользуюсь успехом. Я достигла немало, не правда ли? Мною восхищаются и мне завидуют. Но я вам скажу, если бы могла иметь успех в десять и в сто раз больше, – я не хотела бы еще раз пережить того, что я пережила. Довольно...

Е.К.

Сын

В мраморный зал суда падает тусклый свет угасающего дня. Головы зрителей последних рядов постепенно исчезают в быстро наступающих сумерках. Подсудимый различает со своего места лишь сидящих на передних скамьях. Опершись на руку, сидят праздные, любопытные завсегдатаи этого помещения, будущие кредиторы, адвокаты без дела; а среди них – один, бледные черты которого так хорошо знакомы подсудимому, – его сын... Дальше – журналисты: холодные и торопливые, они, низко склонившись над бумагой, делают заметки для утренней газеты. Подсудимый до такой степени отупел от двухдневных прений, вытащивших наружу всю подноготную, все тайные невзгоды его частной жизни, что он лишь с трудом борется с безумным желанием встать и попросить у председателя свечей для бедных писцов, портящих себе зрение в темноте. И почему до сих пор не зажжены газовые рожки? Ах да, чтобы не прервать оратора.

Говорит прокурор.

Он говорит уже в продолжении полутора часов, изливая на голову подсудимого всю чашу прописной морали. Не должно жить не

Er hat es schon seit anderthalb Stunden. Er gießt die volle Schale der landläufigen Moral über das Haupt des Schuldigen aus. Man lebt nicht über seine Verhältnisse! Man treibt seinen Aufwand, wenn man schon zahlungsunfähig ist! Man fährt nicht in der Equipage, während die ahnungslosen Gläubiger zerknirscht zu Fuße gehen! Man unterschlägt nicht die anvertrauten Gelder von Wittwen und Waisen! Und jahrelang hat das dreiste Spiel gedauert! Jahrelang hat sich der Angeklagte den Schein des ausrechten Mannes gegeben, hat er vorzügliche Ehrenstellen bekleidet, seinen Mitbürgern die Achtung abgelistet, den Stachel des Reides tief in das Herz der Besitzlosen gebohrt. Sein Gauklerwagen in der Mitte des Fahrweges, wo nur schuldenfreie Karossen rollen durften – wenn überhaupt... Und vom einzelnen Falle schwingt sich der Redner zu den bekannten allgemeinen Betrachtungen auf, indes der Verteidiger sich vorläufig kampfesfroh die Manschetten zurechtzupft. Auch dieser führt eine nicht unbedeutende Klinge. Die Blößen, die sich sein verehrter Gegner und glänzender Vorredner gibt, erspäht der Verteidiger und wird sie in dieser ritterlichen Wortfehde wohl verwerten. Auch er wird sich vom einzelnen Fall in unerwarteter Weise ausschwingen zu den allgemeinen Betrachtungen, natürlich von einer andern Seite. Denn zu den allgemeinen Betrachtungen gelangt man von den verschiedensten Seiten.

Der Staatsanwalt schließt. Bei dem reuigen, vollen Geständnisse des Angeklagten – wie späterhin auszuführen, der einzige Milderungsgrund – sei der gerechte Schuldspruch unbedingt zu erwarten. Redner hoffe auf Einhelligkeit im Verdikte der Geschworenen, als eine glänzende Genugtuung für die frech beleidigte öffentliche Moral. Beifall im Zuschauerraume. Der Vorsitzende rügt diese Ausschreitung und verkündet eine kurze Pause. Der Angeklagte erhält von seinem Nachbar, dem Justizsoldaten, einen Wink, aufzustehen. Beim Hinausgehen lächelt er in den Zuschauerraum, was von strengeren Beobachtern als Rohheit und Verhärtung ausgelegt wird. Aber er hat nur seinem Sohne zugelächelt, um ihm tröstend anzudeuten, dass dies Alles nicht schmerze.

Nach der Pause. Die Gasluster strahlen jetzt. Ah! Alles erscheint wieder, erfrischt wie nach dem Zwischenakt im Theater. Auch der Angeklagte fühlt sich wohler. Der Kopfschmerz, der ihn vorhin bedrückte, wie eine bleierne Haube, ist nun ein wenig gelüftet.

«Herr Verteidiger, Sie haben das Wort!»

Bevor der aber der präsidialen Einladung entspricht, wartet er kunstvoll ein Weilchen. Gänzliche Stille muß eingetreten sein, damit keines seiner kostbaren Worte unter den Tisch falle. Namentlich für den Anfang hat er

по средствам. Не должно жить в роскоши, будучи несостоятельным! Не должно ездить в экипаже в то время, как ничего не подозревающие кредиторы с сокрушенным сердцем ходят пешком! Не должно утаивать денег, доверенных вдовами и сиротами. А между тем эта дерзкая игра тянулась годами. Годами подсудимый выдавал себя за честного человека, занимал почетные должности, хитростью достигал уважения своих сограждан, возбуждал глубокую зависть в сердцах неимущих...

И от единичного случая оратор переходил к общим рассуждениям, в то время как защитник, готовясь к бою, поправляет свои манжеты. И его роль немаловажна. Он подмечает слабые стороны, которые обнаруживает его уважаемый противник, чтобы воспользоваться ими в этом рыцарском словопрении. Он также от единичного случая неожиданно перейдет к общим рассуждениям, конечно, с другой стороны. Ибо к общим рассуждениям можно прийти с самых разнообразных сторон.

Прокурор кончил.

Принимая во внимание полное раскаяние и признание подсудимо-го, служащее единственным смягчающим вину обстоятельством, можно, безусловно, ожидать справедливого приговора. Оратор надеется на единогласие в вердикте присяжных, как блестящее удовлетворение поруганной общественной нравственности.

В зале суда слышно одобрение. Председатель возвещает краткий перерыв. Сосед подсудимого, курьер, делает ему знак встать. Выходя из зала, подсудимый с улыбкой бросает взгляд в зал. Строгие наблюдатели объяснили эту улыбку его грубостью и черствостью, а между тем она относилась лишь к его сыну, как бы в утешение, что все это не причиняет ему страданий.

Перерыв кончился. Ярко пылают газовые рожки. Все возвращается, освежившись, точно после антракта в театре. Подсудимый чувствует себя также лучше: боль, сжимавшая его голову свинцовыми тисками, несколько ослабела.

– «Господин защитник, за вами слово!»

Однако последний, прежде чем последовать предложению председателя, намеренно выжидает некоторое время. Должна наступить полная тишина, чтобы не было проронено ни одно из его драгоценных слов. Он для начала приготовил несколько тонких эффектов

einige delikate Spitzen, reizende Sächelchen für Feinschmecker – die größeren und darum der Wirkung sicheren werden weise für den Schluß gespart: allerhand Sentimentalitäten, gerichtshöfische Lyrik, der Griff nach der Trändrüse. Eine Reklame, wie dieser Prozeß, kommt nicht bald wieder.

«Meine Herren Geschworenen!»

Der Angeklagte lauscht anfangs den glatten, sorgsam gesteigerten Sätzen. Aber sämtliche Tatsachen hat er in den letzten zwei Tagen so oft erwähnen gehört, dass sie ihm allmählich gleichgültig wurden und fremd, in demselben Maße, wie sie den Herren Geschworenen nach und nach vertraut sind. Auch erkennt er wahrhaftig sein Schicksal nicht in dieser doch so meisterhaften Darstellung. Es fehlen entscheidende Züge, die freilich auch in den Prozeßakten nicht vorkamen. Und eine leise Betäubung überwältigt ihn, eine angenehme Müdigkeit. Es ist ihm zu Mute wie dem Verirrten im tiefen Schnee, wenn der kritische Augenblick der Schlafsucht eintritt. Er träumet verloren vor sich hin. So würde er sprechen, wenn nicht die Scham ihn abhielte.

Meine Herren Geschworenen!

Kennen Sie meinen Sohn? Dort sitzt er, ein lieber Junge – er hat sich natürlich der Aussage entschlagen. Und was hätte er auch aussagen können? Er wußte ja von nichts. Obwohl er, nur er daran schuld ist, daß ich jetzt neben dem Herrn Justizsoldaten vor Ihnen sitze.

O, Sie mißverstehen mich, meine Herren Geschworenen. Er ist tadellos, wohlgeraten und brav, brav! Wenn Einer von Ihnen auch dem innerlichen Genius entspricht und ein Gerechter von mildem Sinn ist, ein barmherziger Gerechter, so wünsch' ich ihm einen solchen Sohn.

Er hat mir Freude gemacht von seinem ersten Tage an, und nur ein einziges Mal weh getan. Das erzähle ich ihnen gleich. Es ist der Grund, warum ich hier sitze.

Als er mir geboren wurde, da war die Welt plötzlich so voll... Sie wissen, ich bin aus gutem Hause, habe eine sorgfältige Erziehung genossen und meine Jugend flott verbracht. In die Ehe zog ich ebenfalls tändelnd ein. Gesicherte Verhältnisse, die alte Firma, die ich übernahm – wo soll da der Ernst herkommen? Das Hauswesen wurde auf großem Fuß eingerichtet. Das ist der Aufwand, den mir der Staatsanwalt vorwirft. Aber dieser Aufwand war lange Zeit berechtigt, und als er es nicht mehr war, durfte ich ihn nicht aufgeben, ohne mich selber aufzugehen. Der Rock war nicht zu weit, nur der Leib magerter unversehens ab.

для знатоков, – более же грубые, действие которых поэтому несомненно, он приберегает к концу.

– «Господа присяжные!»

Подсудимый со вниманием выслушивает первые плавные, округленные фразы. Но все эти факты, так часто упоминавшиеся за последние два дня, стали для него постепенно безразличными и чуждыми, по мере того, как господа присяжные мало-помалу с ними осваивались. Он даже не узнает своей судьбы в этом мастерском изображении. Нет известных положительных черт, которых, конечно, не было и в судебных актах. И им овладевает какое-то оцепенение, приятная усталость. Он испытывает состояние заблудившегося в снегу, когда наступает критический момент непоборимой сонливости. И он погрузился в мечтание. Если бы его не сдерживал стыд, он так заговорил бы:

– «Господа присяжные! Знаете ли вы моего сына? Вон он сидит, славный малый – он, конечно, отказался от показаний. Да и что мог бы он показать? Ведь он ничего не знал, хотя один он является виновником того, что я сижу перед вами. Вы не понимаете меня, господа присяжные. Он безупречен, добр и честен. С первого дня своего рождения он доставляет мне одни только радости и лишь один раз причинил мне страдания. Я вам сейчас расскажу. Это было причиной того, что я здесь сижу.

Когда сын мой появился на свет, мир для меня стал более полным... Вы знаете, я из хорошей семьи, получил хорошее воспитание и весело провел свою молодость. Женился я не задумываясь. Обеспеченная жизнь, старая фирма, в которую я вступил, – откуда могла взяться серьезность? Дом был поставлен на широкую ногу. Это та роскошь, в которой меня упрекнул прокурор. Но на эту роскошь я имел полное право; а когда я его потерял, я не мог от нее отказаться, не погубив самого себя. Не платье было слишком широко для меня, а мое тело нечаянно исхудало.

А между тем я сделался серьезным из-за сына. Еще в колыбели своей он исцелял меня от некоторых легкомысленных взглядов. Дети являются величайшими нашими наставниками. Сын мой научил меня осмысленной любви к жизни. А жизнью этой был он, мое неограниченное продолжение, – ручательство, что я всегда буду существовать в лице моего сына, внука – всегда юным, прекрасным и сильным, в более и более облагороженном типе. Так думает каждый

Und doch kam mir der Ernst – von meinem Sohn. Noch als er in der Wiege lag, heilte er mich von allerlei spöttischen und leichtfertigen Anschauungen, die ich vor ihm gehabt. Die Kinder sind unsere größten Lehrmeister. Er lehrte mich eine sinnvolle Liebe zum Leben. Denn mein Leben war er, meine unbegrenzbare Fortsetzung, die Bürgschaft, dass ich immer unter der Sonne wandeln würde, als mein Sohn, mein Enkel, immer jung, immer schön und stark, in zunehmender Veredlung... So geht's ja jedem Vater. Auch erwähne ich dieses Wohlbekannte, Selbstverständliche nur darum, weil bei mir die Liebe zum Sohn einen nervösen Zug hatte. Ich war vom ersten Tage an in ihn verliebt, leidenschaftlich, närrisch. Ich hatte sozusagen die Monomanie des Sohnes.

Das Wunderbare ist, dass ich ihn dabei doch nicht verzog. Freilich, er ist so gut veranlagt. Er hat ein so treues, standhaftes Herz, Instinkt für alles Hohe und Mitleid für jedes Elend. Gar manche Lehre der Menschlichkeit verdankte ich seinem stammelnden Kindesmund. Und mit jenen unverdorbenen Augen gewöhnte ich mich, die köstlich verjüngte Welt anzuschauen. So wurde ich auch im andern Sinne mit dem Erscheinen meines Sohnes neugeboren... Auf den ersten Jahren liegt für mich noch jetzt der blonde Glanz seiner Locken. Was waren das für unvergeßliche Spazierritte rund um das Zimmer. Ich das Pferd und er mit Hü und Hott und Händeklatschen der Reiter. Dann wuchsen wir heran und lernten. Ich mit ihm. Ich hatte den Ehrgeiz, mich von ihm im Wissen nicht überflügeln zu lassen. So wurden die alten Kenntnisse aufgefrischt, aber den Schulplunder ersparte ich uns. Mein Hans wurde nicht unnütz gequält, saß nie in einem Pferch mit anderen mißhandelten Kindern. Zusammen machten wir die homerischen Kämpfe durch, lasen die Anabasis, und als wir mit den Rückkehrenden das Meer, das Meer wiedersahen, überflog uns beide ein gleicher Schauer der Rührung. Und die Erkenntnis der Naturkräfte! Was war in diesen Lehren Während meiner Abwesenheit hinzugewachsen! Um wieviel weiter war die Welt geworden, seit ich die Schulbücher meiner Jugend zugeklappt hatte!...

Verzeihen Sie, das gehört eigentlich nicht zur Sache. Ich will nur sagen, dass ich der Spielkamerad und der Mitschüler meines Sohnes gewesen. Als er zur Reise kam, wurde ich sein Freund. Er hat nie ein Geheimnis vor mir gehabt, ich hatte keines vor ihm – mit Ausnahme der letzten Zeit. Von meinen Betrügereien hatte er keine Ahnung, er wußte lediglich, dass ich Sorgen und Kämpfe habe... Wie er an mir hing und hängt! Sehen Sie, dort sitzt er seit dem Beginn der Verhandlung, regungslos. Höchstens, dass er mir

отец. И я упоминаю об этом всем известном и понятном чувстве лишь потому, что в моей любви к сыну есть что-то нервное: со дня его рождения я был влюблен в него, страстно, безумно. Я страдал, так сказать, мономанией к сыну.

Но удивительно, что в то же время я не избаловал его. У него такие прекрасные наклонности, верное, стойкое сердце, отзывчивость ко всему возвышенному и сострадание ко всякому горю. Как часто его детские уста поучали меня человечности; и его неиспорченными глазами я стал смотреть на обновившийся для меня мир. Я возродился с появлением моего сына... Воспоминание о его первых годах еще сейчас залито блеском его золотых кудрей. Какие незабвенные игры устраивали мы: я в качестве лошади, а он всадника, хлопающего от радости в ладоши. Затем мы выросли и стали учиться, я вместе с ним. Мое самолюбие не позволяло мне, чтобы он опередил меня в этом отношении. Я освежил в памяти свои школьные познания, стараясь в то же время избавить его от школьной рутины. Мы увлекались гомеровскими битвами, читали «Анабазис» и, снова увидев вместе с возвращающимися из похода море, дивное море, мы оба чувствовали умиление. А познание сил природы! Насколько выросла эта область с тех пор, как я расстался с ней. Насколько шире стал весь мир с тех пор, как я закрыл школьные книги моей юности... Но, простите, это собственно к делу не относится. Я хочу лишь только сказать, что я был товарищем моего сына. Когда он созрел, я сделался его другом. У него никогда не было тайны от меня, а у меня от него – за исключением последнего времени. О моем мошенничестве он не подозревал, а только знал, что у меня есть заботы и огорчения... Как он ко мне привязан! Взгляните, вон он сидит неподвижно с самого начала процесса; разве только улыбнется мне изредка, чтобы я чувствовал близость друга. Хотя его сердце сильнее обливается кровью, чем мое.

Итак, вопрос в том, что побудило меня совершить преступление с корыстной целью? Прежде всего, факты, сообщенные вам господином прокурором, все верны. Я растратил крупные суммы. Господа присяжные! В случаях, подобных моему, важна лишь первая ложь. Все остальное следует само собой: теряешь свободу воли. Чувствуешь себя словно в болоте; и чем больше стараешься выбраться из него, тем глубже погружаешься в него. Что же побудило меня сделать первый шаг? Каменноугольные копи, о которых вам все извест-

manchmal zulächelt. Ich soll den Freund an meiner Seite wissen. Obwohl sein Herz stärker blutet, als meines...

Ja, wie ich also dazu kam, ein Verbrechen aus Gewinnsucht zu begehen? Vor Allem: die Tatsachen, die Ihnen der Herr Staatsanwalt vortrug, sind sämtlich richtig. Ich war seit länger als drei Jahren passiv und wußte es. Ich habe betrogen und große Summen veruntreut. Meine Herren Geschwornen! In Fällen wie der meinige handelt es sich bloß um die erste Lüge. Das Andere folgt von selbst, man hat nicht mehr die Willensfreiheit. Man ist im Sumpf, und je heftiger man sich anstrengt, hinauszugelangen, desto tiefer sinkt man ein... Wie bin ich nun zum ersten Fehler getrieben worden? Das Kohlenbergwerk, von dem Ihnen alles Nötige bekannt ist, verschlang bedeutende Kapitalien und gab nichts wieder. Mein Kredit war überdies angespannt. Doch war meine Lage durchaus nicht bedenklich. Da begab es sich, dass ich für eine ganz kurze Zeit – zwei Tage – fünfzigtausend Gulden brauchte. In zwei Tagen hatte ich fällige Wechselforderungen in der gleichen Höhe. Um nun nicht erst borgen zu müssen, entnahm ich das Geld einem der bei mir liegenden Depots. Das war nicht korrekt, geschah aber nicht in verbrecherischer Absicht. Ich konnte ja mit Bestimmtheit auf die Einlösung der Wechsel rechnen... Sie wurden nicht eingelöst. Mein Schuldner, ein scheinbar solider Mann, brach jäh zusammen. Das Schlimmste dabei, dass sich sofort Gerüchte verbreiteten, ich sei schwer mitgenommen. Das vernichtete meinen Kredit. Unter solchen Umständen war es mir für den Augenblick vollkommen unmöglich, das Depot wieder herzustellen. Hätte ich das gekonnt, ich würde ohne Zögern meinen Konkurs angemeldet haben.

Acht Tage lang suchte ich erfolglos alle Mittel und Wege, um den Riß zu verstopfen. Andere Forderungen traten an mich heran. Da sah ich ein, dass mir nichts Anderes übrig blieb, als eine Pistolenkugel, wenn ich meinem Sohne keinen besudelten Namen hinterlassen wollte. Nach meinem Tode würde meine Handlungsweise milder beurteilt werden. Bei der Konkursklärung mußte die Veruntreuung aufkommen, der von mir ernannte Verlassenschaftspfleger konnte hingegen das Deposit leicht ergänzen.

Das Alles hatte ich mir in leidlicher Ruhe ausgedacht, geordnet, aufgeschrieben. Es kam der letzte Abend, an dem ich es vollbringen wollte. Wir waren allein bei Tische, mein Sohn, meine Frau, meine Tochter. Die Zeit über war ich verdrossen und aufgereggt gewesen – was ich den Meinigen mit Geschäftssorgen erklärte – jetzt war die Feierabend-Stimmung da. Abschied nehmen! Ich kann sagen, dass ich es mutig tat. Ich scherzte mit Frau und Tochter, mit meiner Tochter, die eben lieblich im Aufblühen war. Gerade jetzt

но, проглотили значительный капитал и ничего не вернули; кроме того, кредит мой несколько пошатнулся. Тем не менее, положение мое отнюдь не было критическим. В то время случилось, что мне понадобились на совсем небольшой срок – всего на двое суток – пятьдесят тысяч гульденов. Через два дня я должен был получить такую же сумму денег по векселям. Чтобы избежать займа, я взял эту сумму из хранившихся у меня в депозите денег. Это не было корректно, но было сделано не с преступной целью: ведь я мог с уверенностью рассчитывать на оплату векселей; однако по ним не было уплачено. Должник мой, по-видимому, солидный человек, неожиданно разорился. Всего хуже было то, что тотчас разнесся слух, что и я сильно пострадал. Это окончательно подорвало мой кредит. При таких обстоятельствах для меня было совершенно невозможно тотчас восстановить депозит. Если бы я мог это сделать, я немедленно объявил мой конкурс.

В продолжение недели я безуспешно искал какой-либо способ, чтобы поправить дело. Но ко мне предъявляли все новые требования, и тогда мне стало ясно, что, не желая оставить сыну опозоренное имя, мне остается только пустить себе пулю в лоб. Я надеялся, что после моей смерти отнесутся снисходительно к моему образу действий. По объявлении конкурса растрата должна была обнаружиться, а назначенный мною опекун мог легко пополнить депозит.

Все это я обдумал, привел в порядок и написал. Настал последний вечер, когда я решил совершить задуманное. Мы были одни за столом – мой сын, жена и дочь. Последнее время я часто бывал взволнован и не в духе, объясняя свое состояние деловыми заботами, – теперь же у меня было особенно приподнятое настроение. Настала минута прощания. Я могу сказать, что я проявил много мужества. Я шутил с женою и дочерью, которая распускалась как цветок; я чувствовал, что именно теперь она во мне нуждается более, чем когда-либо, и что до сих пор я мало занимался ею. Но ведь я оставлял ей сильного защитника – моего Ганса! Несмотря на свои двадцать лет, он уже был мужчиной. Итак, я шутил с женою и дочерью, – на него я не был в силах взглянуть: у меня темнело в глазах.

Затем я спокойно попрощался с ними. Жену и дочь я по обыкновению поцеловал в лоб. Только по отношению к сыну я проявил минутную слабость – в долгом поцелуе. Он пытливо взглянул на меня. Теперь я понимаю, что этот поцелуй выдал меня... Я пошел в свою

bedurfte sie meiner mehr als je, fand ich. Fand auch, dass ich sie bisher immer vernachlässigt hatte. Nun, ich hinterließ ihr einen starken Schützer: meinen Hanz! Erst zwanzigjährig, war er doch schon ein Mann... ich scherzte, wie gesagt, mit Frau und Tochter – ihn konnte ich nicht anschauen. Wenn ich hinsah, verdunkelte sich mir der Blick.

Dann sagte ich ihnen gelassen gute Nacht! Ich küßte, wie gewöhnlich, Frau und Tochter auf die Stirne. Nur bei meinem Sohne war ich für einen Augenblick schwach. Ich gab ihm einen langen, langen Kuß. Er sah mich forschend an. Ich weiß jetzt, dass dieser Kuß mein Verräter war... Ich ging auf mein Zimmer. Ich wollte nur noch warten, bis sie alle schliefen. Da lag schon der Revolver bereit... Meine Tür wurde plötzlich aufgerissen – er war es: Hans! Mit einem Blick übersah er die Sachlage. Ich wollte mich auf den Revolver stürzen er war schneller. Er stieß mich zurück, dass ich taumelte. Und da stand er schon, durch den Tisch gedeckt, und hatte den Revolver in der Hand.

«Gieb her!» schrie ich.

«Nein! Du willst Dich tödten!»

«Gieb her!... Ja, wenn Du es wissen willst. Ich muß. Ich kann nicht anders.» Und wollte mich nähern.

«Nicht einen Schritt, Vater!» Dabei setzte er sich die Mündung an die Schläfe. «Wenn Du einen Schritt machst, drücke ich los.»

Und in dieser gräßlichen Situation begannen wir zu unterhandeln. Er verlangte mein Ehrenwort, dass ich nicht Hand an mich legen werde. Sonst tödte er sich augenblicklich. Er wollte den Vater nicht verlieren... Nun, meine Herren Geschwornen, hätte ich meinen Sohn, einen solchen Sohn in den Tod schicken sollen? Wenn ich ihm auch gleich nachgefolgt wäre... Ich gab ihm mein Ehrenwort, zu leben. Ich lebe. Ich sitze jetzt da. Sprechen Sie mich schuldig!

Herz! T. Philosophische Erzählungen. Berlin, 1900. S. 111–121.

Die Raupe

Riviera!... Goldiger Glanz liegt auf dem Meere. Draussen weit, weit draussen an der Wassergrenze stehen wie weisse Flämmchen die Segel der Fischerbarken, die Morgens ausgefahren. Ein leichter Wind kommt tändelnd gezogen, man spürt ihn kaum. Man fröstelt auch nicht, denn es ist warmer Frühling, Frühling an der Riviera.

комнату, собираясь выждать, пока они все заснут. Готовый револьвер лежал на столе. Но тут дверь моя распахнулась – передо мной стоял Ганс! Одним взглядом он понял положение дела. Я хотел броситься к револьверу, – он опередил меня, оттолкнув меня так, что я пошатнулся. С револьвером в руках стоял он против меня, защищенный столом.

– «Отдай!» – крикнул я.

– «Нет! Ты хочешь убить себя!».

– «Отдай! Да, если ты хочешь знать. Я должен; иначе поступить я не могу».

Я хотел приблизиться к нему.

– «Стой!» – воскликнул он, приставив дуло к виску. – «Один твой шаг – и я спущу курок!».

И в этом ужасном положении мы начали торговаться. Он требовал моего честного слова, что я не лишу себя жизни, иначе он тотчас застрелится. Он не хотел терять отца... Господа присяжные! Мог ли я обречь на смерть своего сына – такого сына, даже если бы я тотчас последовал за ним... я дал ему честное слово, что буду жить. И я живу. Я сижу перед вами. Признайте меня виновным.

Е.К.

Гусеница

Ривьера!.. Золотистым блеском сверкает море. А там далеко, далеко, на самом горизонте, вырисовываются белые паруса рыбацких барок, выехавших с утра. Подул легкий, едва заметный ветерок; стоит теплая весна; весна на Ривьере.

Kinder spielen am Ufersaum. Ein paar welsche schmutzige Bettelkinder mit Haut und Haaren. Und mitten unter ihnen glänzt ein wohlgewachsener, weisser, blonder kleiner Sohn des Nordens. Das ist Kurt. Er versteht die lustigen Spielkameraden so wenig wie sie ihn. Das heisst: nur, wenn sie sprechen. Denn die artikulirten italienischen Laute sind ihm fremd, wie den Anderen das Deutsche. Aber sie unterhalten sich königlich Volapük der Kinderei. Sie laufen der fliehenden Welle nach, und wenn diese dann bärbeissig umkehrt, so weichen sie vor ihr lachend und erschrocken zurück. Und in die grossen Rhythmen der Brandung zwitschern, jauchzen sie Ringelreihelieder als helle Gegenstrophe.

Unfern sitzen die drei Erwachsenen. Sie haben sich bequeme Weidenfauteuils vom Hotel herunterbringen lassen. Fritz und seine Cousine Klara schauen den Kindern zu; Mergenthien, Klara's Gatte, liest. Frau Klara hat den roten Sonnenschirm aufgespannt und über ihr hübsches freundliches Gesicht huschen nun Reflexe. Der Vetter Fritz blinzelt sie ab und zu an. Ah ja, sie ist ihrer gesunden Frische immer noch tausendmal charmanter als alle diese verblüffenden Pariserinnen, die ihn längst nicht mehr verblüffen, weil er sie täglich sieht. Als Attache der deutschen Legation in Paris hat er jahraus, jahrein sehr viel Zeit und Muße, die Schönheitskniffe, die Truks der Anmut ganz genau kennen zu lernen. Die Abenteuer sind, Gott sei's geklagt, immer die gleichen, immer! Eines ist wie das andere. Und den Süssigkeiten entwächst allmählich der Überdruß, der Ekel. So hat Fritz denn auch die elegante und lustige Bande von Pariser Freundchen und Freundinnen, mit denen er in Nizza beisammen war, eiligst verlassen, als er hörte, dass sich die Mergenthiens hier in diesem allerliebsten schmutzigen Nest an der Riviera aufhielten.

«Eine dringende Abberufung!» hatte er in Nizza mit wichtiger gesandtschaftlicher Miene vorgeschützt und war heimlich hierher geeilt. Wie hätten die Damen ihre graziösen, gepunderten Näschen gerümpft, wenn sie dieser «dringenden Abberufung» auf die Spur gekommen wären! Herr Fritz verbrachte hier seine Tage damit, den lieben Buben seiner Cousine in die drallen Waden zu kneifen oder gedankenlos zuzuschauen, wenn Kurt mit den Bettelkindern um die Wette am Ufer hinjagte, wie eben jetzt...

«Wer von euch will den Wagen für heute Nachmittag besorgen?» sagt Frau Klara.

На берегу играет детвора: несколько грязных итальянских оборвышей, смуглых и растрепанных; а среди них стройный, нежный, белокурый мальчик – дитя севера. Это Курт. Он так же мало понимает разговор веселых своих товарищей, как и они его; но они прекрасно беседуют на детском воляпюке. Они бегут вслед за удаляющейся волной; а когда последняя грозно возвращается назад, они испуганно и со смехом убегают от нее. И в ответ на могучие звуки прибоя шлют веселое щебетание, радостные возгласы и хороводные песни.

Неподалеку сидят трое взрослых на удобных ивовых креслах, принесенных для них сюда из отеля. Фриц и его кузина Клара следят за детской игрой, а Мергентин, супруг Клары, занялся чтением. Клара раскрыла над собой красный зонтик, бросающий нежный розовый свет на ее красивое приветливое лицо; а кузен Фриц, время от времени прищурив глаза, поглядывает на нее. Действительно, дыша здоровьем и свежестью, Клара в тысячу раз очаровательнее поразительных француженок, давно уже переставших поражать его, так как ему приходится видеть их ежедневно. В качестве атташе немецкого посольства он имел в продолжении многих лет достаточно времени и досуга, чтобы изучить все секреты французской красоты и привлекательности. Приключения бывают, к сожалению, всегда одни и те же. Постоянное однообразие. А сладости постепенно приедаются, вызывают отвращение. Поэтому Фриц, не задумываясь, спешно покинул в Ницце веселую компанию приятелей и приятельниц, когда узнал, что семья Мергентин поселилась в этом прелестном, грязном уголке на Ривьере. «Безотложное дело!», – заявил он с важным видом посланника и тайком поспешил сюда. С каким презрением наморщили бы его дамы свои изящные напудренные носики, если бы узнали суть этого «безотложного дела». А Фриц проводит здесь дни, возясь с милым мальчиком своей кузины или мечтательно следя за тем, как Курт и маленькие оборвыши бегают взапуски по берегу моря...

– Кто из вас позаботится о коляске после обеда? – спрашивает Клара.

– Сделай мне одно удовольствие, Клара, и оставь меня в покое, – заметил Фриц.

– Мергентин поднял глаза: – Да, безделье развивает лень.

– А что же ты, милейший толстяк, сделал за сегодняшний день? – смеется Фриц. – Ты увлекаешься каким-то французским романом – *et voilà tout!* чтобы поизящнее выразиться.

«Tu' mir den einzigen Gefallen, Klara, und lass mich jetzt ruhig sitzen!» meint Vetter Fritz.

Mergenthien sieht vom Buch auf: «Ja, vom Nichtstun wird man faul.»

«Was hast denn Du heute schon geleistet, mein Dicker?» lacht Fritz. «Du liest da irgend einen französischen Roman – et voila tout, um mich gebildet auszudrücken.»

«Gott verzeihe Dir Deine Unwissenheit,» erwidert Mergentien; «Du hältst das für einen Roman! Das ist Taine, «De l'intelligence!» Etwas Tiefes, Feines, Gelehrtes!»

«Ah so!... Ich dachte, weil das Buch einen gelben Umschlag hat, wie die Werke von Zola oder Bourget.»

«Du bist ein schrecklicher Ignorant,» erklärt der Dicke wohlwollend.

«Und kommst wahrscheinlich nie über den Umschlag der Bücher hinaus?» fügte Klara lächelnd hinzu.

«Niemals!» beteuert Fritz.

«Da kennst Du gerade das Allerbeste nicht, was das Leben biete, Du Lebemann!... Sieh', dieses wunderbare und ernste Buch: Die Intelligenz!...»

Fritz unterbricht ihn: «Ja, was geht denn mich die Intelligenz an?»

Frau Klara lacht laut auf: «Geh', Du wirst den Boulevardier da nicht ernst machen, Max! Halte ihm keinen Vortrag, den er nicht verstünde!... Besorg' uns lieber den Wagen für Nachmittag. Ja?»

Mergenthien lacht nun ebenfalls, erhebt sich willig und geht nach dem Hotel.

Die zwei sitzen eine Weile still da. Die junge Frau blickt ihren Vetter stumm und lächelnd an. Fritz aber träumelt vor sich hin.

Dann sagt Frau Klara plötzlich, ohne rechten Zusammenhang mit dem Früheren: «Höre, Fritz, Du sollst es ja sehr arg treiben!»

«Ich? Wo denn?»

«In Babylon!»

«Ha-ha-ha. Ich erkenne dich, deutsche Tugendhaftigkeit... Paris sagt man nicht, sondern, mit frommem Schauer, «das Babel an der Seine.» Wenn ihr wüßtet, wie ich mich manchmal in Babylon langweile! Was, manchmal? Immer! Wie ein Sträfling – zum Sterben! Und wie ich mich zuweilen nach der blonden Fadaise eines heimatlichen Tanzkränzchens sehne. Wenn ich mit den Prinzessinnen des Chik beisammen bin, überkommt mich ein wilder Wunsch: Herrgott! Wenn Du jetzt mit Schmall-

– Да простит тебе Бог твое невежество, – возражает Мергентин: – ты принимаешь эту книгу за роман! Ведь это Тэна «De l'intelligence». Нечто глубокое, тонкое, ученое.

– Вот как! А я думал, судя по желтой обложке, что это Золя или Бурже.

– Ты ужасный невежда, – заключает толстяк добродушно.

– И, вероятно, дальше обложки никогда не заглядываешь? – замечает Клара улыбаясь.

– Никогда! – уверяет Фриц.

– В таком случае тебе неведомо самое прекрасное, что представляет жизнь. Посмотри, какая удивительная, серьезная книга: Об уме!..

– Но Фриц его перебивает: – А какое мне дело до ума?

– Клара громко смеется: – Брось, Макс, тебе не удастся сделать серьезным этого бульварного кавалера. Не читай ему лекций, которых он все равно не поймет?.. Лучше достань нам коляску, да?

Макс также смеется, охотно встает и уходит в отель.

Оставшиеся сидят несколько времени молча. Молодая женщина смотрит, улыбаясь, на своего кузена. А Фриц погрузился в мечтания.

Вдруг Клара неожиданно спросила:

– Послушай, Фриц, ты, говорят, живешь очень весело?

– Я? Где?

– В Вавилоне.

– Ха-ха-ха! Узнаю тебя, немецкая добродетель... Не решаются сказать «Париж», а говорят с благочестивым трепетом «Вавилон на Сене». Если бы вы знали, как подчас скучаю в этом Вавилоне! Да что подчас? Всегда. Скучаю до смерти – как ссыльный! И как я жажду иногда веселой и беспечной вечеринки на родине. Находясь в обществе принцесс шика, мною овладевает безумное желание: Господи! Если бы я мог теперь с Шмальвитцем и Мергентинном сыграть в скат! Какое бы это было блаженство!..

– Разве она тебя обманула, Фриц?

– Кто?

– Твоя возлюбленная.

– У меня ее нет.

– И кого ты хочешь убедить в этом? Быть может, в настоящую минуту твое сердце свободно. Но я ручаюсь, что это не всегда так обстоит. Все здесь считают тебя за бурного прожигателя жизни.

witz und Mergenthien Skat spielen könntest! Was müßte das für eine Wonne sein!...»

«Hat sie Dich denn hintergangen, Fritz?»

«Wer?»

«Na, Deine Angebetete!»

«Ich habe keine.»

«Wem willst Du das einreden?... Vielleicht ist Dein Herz im Augenblick beschäftigungslos. Aber dass es nicht immer so ist, darauf will ich wetten. Ganz Pommern hält Dich für einen stürmischen Lebemann.»

«Ganz Pommern irrt sich.»

«Da erinnere ich mich an etwas. Beim letzten Skat vor unserer Abreise – Schmallwitz und Marzahn spielten mit meinem Mann – saß ich und schaute gelangweilt zu, und plötzlich siehst Du mir ein. Vielleicht war's derselbe Moment, in welchem Du Dich nach dem Skat sehntest. Ich dachte mir – ich erinnere mich ganz deutlich, – Fritz ist doch gescheidter, als diese Krautjunker Schmallwitz und Marzahn. Während die hier ihr lediges Leben verdämmern, flattert er von Blume zu Blume, der Schmetterling!»

«Der Schmetterling soll ich sein?»

«Leugne nicht!... Und ich nahm mir fest vor, dass ich mir von Dir Geschichten werde erzählen lassen, wenn wir uns treffen.»

«Geschichten!... Weiß der Himmel, was Du Dir vorstellst! Ich habe gar nichts erlebt. Als junger Gänserich flog ich wohl über den Rein – da hast Du meine Geschichte.»

«Hilft Dir nichts, Du mußt mir erzählen! Wenn schon nicht Alles, so doch Dein merkwürdigstes Abenteuer.»

«Mein – merk – wür – digstes – Abenteuer?»

«Ja wohl!...» Frau Klara unterbricht sich mit einem leichten Aufschrei. Kurt ist im Spielen hingefallen und scheint sich weh getan zu haben, denn er heult. Sie springt auf und eilt in mütterlicher Ängstlichkeit zu dem Knaben hin, um ihn zu trösten und aufzurichten.

Fritz ist ruhig sitzen geblieben. Jetzt nimmt er mechanisch das von Mergenthien zurückgelassene Buch in die Hand, klappt es auf. Die Intelligenz!... Mit einem Mal bleibt sein nachlässig streifender Blick an einer Stelle haften. Von Schmetterlings-Verwandlungen ist die Rede. Er liest:

«Wenn uns ein Schlaf, gleich jenem der eingepuppten Raupe, in der Mitte unseres Lebens befele und wir nachher mit verwandelten Sinnen und einem so ganz anderen Nervenapparat erwachen, wie die zum

– И все они жестоко ошибаются.

– Что я вспомнила! В последний день перед отъездом – Шмальвитц и Марцен играли с моим мужем в скат – я скучая следила за их игрой и вдруг вспомнила тебя. Быть может, это было в тот же момент, когда ты мечтал о скате. И я подумала – помню совершенно ясно – ведь Фриц гораздо умнее этих юнкеров, Шмальвитца и Марцена. В это время как они здесь бледно влачат свою холостую жизнь, он, как бабочка, порхает с цветка на цветок.

– Меня ты сравниваешь с бабочкой?

– Не отпирайся!.. И я твердо решила заставить тебя при встрече рассказать мне интересные истории.

– Истории? Бог знает, о чем ты думаешь! Мне нечего рассказывать. Правда, еще молодым птенцом перелетел я через Рейн – вот и все.

– Этим ты не отделаешься; ты должен мне рассказать! Если не все, то, по крайней мере, самое замечательное приключение.

– Мое замечательное приключение?

– Непременно! Но тут Клара, слегка вскрикнув, прерывает себя. Курт во время игры упал и, очевидно, ушибся, так как горько плакал. Клара вскочила и с материнской заботливостью спешит к мальчику, чтобы поднять и утешить его.

Фриц остался спокойно на своем месте. Машинально протягивает он руку к книге, оставленной Мергентинном, и раскрывает ее. Об уме! Вдруг рассеянный взгляд останавливается на одном месте. Речь идет о превращении бабочки. Он читает:

– «Если бы среди нашей жизни мы впали бы в спячку, подобно превратившейся в куколку гусенице, а потом пробудились бы с обновленными чувствами и совершенно иной нервной системой, как у превратившейся в бабочку гусеницы, то перелом между этими двумя нашими превращениями был бы, очевидно, так же поразителен, как и там».

Фриц снова перечитывает эти слова вполголоса: «Если бы мы впали в спячку»... Он, задумавшись, глядит на эти строки, так что буквы зарябили у него в глазах. Или он ослеплен солнечными лучами, сверкающими на синих волнах? Он закрыл глаза...

Жаркий летний день. Над садом царит сонливая тишина. Под большим кленом Фриц ожидает ее. Дело в том, что во время обеда

Schmetterling gewordene Raupe – der Bruch zwischen diesen unseren zwei Verkörperungen wäre dann sichtbarlich mächtig bei uns, wie befiele».

Fritz überliest die Worte noch einmal, halblaut: «Wenn uns ein Schlaf bestehe...» Er träumt in die Zeilen hinein, bis ihm die Buchstaben vor den Augen fimmern. Oder blendet ihn das Sonnenglitzern auf den blauen Wellen? Er schließt die Augen...

Hochsommertag. Eine eigenthümlich, schläfrige, warme Stille liegt über dem Garten. Unter dem großen Ahornbaum wartet Fritz auf sie. Bei Tische hat ihm nämlich Cousine Clara zugeraunt, daß sie ihm etwas Dringendes sagen wolle – Nachmittags, wenn Niemand im Garten sein werde, unter dem Ahornbaum. Was das wohl zu bedeuten habe? Sein Gymnasiastenherz schlägt heftig. Wird sie ihm die erfreuliche Mittheilung machen, daß sie ihn liebe? Vorsichtsweise hat er einige Gedichte, die er für sie während des ganzen Schuljahres geschrieben, zu sich gesteckt. Denn er liebt sie schon lange – zu Ostern waren es zwei Jahre, daß er dieses Gefühl in sich entdeckt hat. Gesprochen hat er natürlich nichts davon – es ist ja die erste Liebe ... Schritte knirschen über den Kiesweg, ein blaues Kleid schimmert durch die Büsche, sie kommt.

«Fritz!»

«Da bin ich. Was willst Du mir sagen?»

«Zuerst schwöre mir, daß Du treu und verschwiegen sein wirst!»

«Treu und verschwiegen! Bis in den Tod! Ich schwöre es Dir!»

«Gut, gut ... Oh, vorher noch Eins! Liebst Du mich?»

«Ob ich Dich liebe, Clara?»

«Ja. Ich meine aufrichtig?»

«Wie kannst Du nur fragen?»

«So will ich mich Dir ganz anvertrauen».

«Wann wird sie mir denn endlich um den Hals fallen?» denkt sich Fritz. Er ist aber zu bescheiden, um den Anfang zu machen.

Sie fällt ihm nicht um den Hals, sieht sich aber noch einmal vorsichtig um:

«Pst, Fritz, diesen Brief!»

«Was soll's mit dem Brief?»

«Du mußt ihn unbemerkt dem Leutnant Mergenthien überbringen!»

«Max von Mergenthien?» sagt er tonlos.

«Natürlich Max! Für mich gibt's nur diesen Einen».

«Für Dich gibt's nur ...?»

кузина Клара шепнула ему, что она должна сообщить нечто важное – после обеда, когда никого не будет в саду, под кленом. Чтобы это значило? Его юное сердце сильно бьется. Сообщит ли она ему радостную весть, что любит его? На всякий случай он захватил несколько стихотворений, написанных для нее в продолжение учебного года. Он уже давно любит ее. На Пасху минуло два года с тех пор, как он открыл в себе это чувство. Он, конечно, не сказал ей об этом ни слова – ведь это была его первая любовь. Но вот раздалися шаги по щебню, сквозь кусты светится голубое платье, она идет.

– Фриц!

– Я здесь, что ты мне хочешь сказать.

– Сперва поклянись мне, что ты будешь молчать.

– До самой смерти. Клянусь тебе.

– Хорошо, хорошо... Но еще одно: любишь ли ты меня?

– Люблю ли я тебя, Клара?

– Да. Искренно?

– Можешь ли ты еще спрашивать об этом?

– В таком случае я всецело доверяюсь тебе.

Когда же она бросится ко мне на шею? – думает Фриц. – Он же слишком скромнен, чтобы сделать первый шаг.

Но она не бросается к нему на шею, а лишь осторожно оглядывается.

– Тише, Фриц, это письмо.

– Что с этим письмом?

– Ты должен передать его лейтенанту Мергентину.

– Макс фон Мергентину? – говорит Фриц беззвучно.

– Конечно, ему! Для меня другого не существует.

– Для тебя не существует?..

– Правда, папа его знать не хочет. Но я не откажусь от Макса: папа его не знает; он не знает, что под уланским мундиром Макса бьется честное сердце. У него не только блестящая внешность, но он в то же время мил, добр, умен и образован.

Фриц отваживается на ироническое замечание.

– Одним словом, рыцарь без страха и упрека.

Клара принимает эти слова серьезно: О да, он, действительно, таков... Послушай, Фриц, ты будешь посредником в нашей переписке, так как Макс, к сожалению, не может теперь приезжать сюда. Согласен?

«Papa will zwar nichts von ihm wissen. Ich aber lasse nicht von Max, Papa kennt ihn nicht, weiß nicht, daß Max unter dem Ulanenrock ein ehrliches Herz trägt. Er ist nicht bloß schneidig, sondern auch lieb und gut, und gescheidt und gebildet».

Fritz rafft sich zu einer ironischen Bemerkung auf: «Kurz, ein Reiter ohne Furcht und Tadel».

Sie nimmt es ernst: «Oh ja, das ist er ... Du, Fritz, Du wirst unseren brieflichen Verkehr möglich machen, da er doch jetzt leider nicht herüber kommen darf. Willst Du?»

Nicht umsonst hat sich Fritz an den griechischen Helden gebildet. Er ist eine standhafte Seele. Und darum erklärt er mit feierlicher, wenn auch etwas umflorter Stimme: «Du kannst auf mich rechnen. Ich habe Dir es ja zugeschworen».

Da fällt sie ihm um den Hals und küßt ihn, ja wohl, sie küßt ihn: «Fritz, Du bist ein reizender Junge! ...»

Bitterer Kuß, schmerzliches Wort! Als «reizender Junge» zu gelten, wenn man großartig liebt und sich unaussprechlich unglücklich fühlt! Das ist hart! ... Aber entsagungsvoll läßt er sich ein Pferd satteln und reitet hinüber nach der Garnison Max von Mergenthien's. Der empfängt ihn strahlend vor Glück, fällt ihm ebenfalls um den Hals und ruft wahrhaftig ebenfalls: «Herr Fritz – Entschuldigen Sie die Vertraulichkeit – aber Sie sind ein reizender Junge!...» Fritz schluckt mannhaft einige Tränen hinunter, läßt sich die Antwort einhändigen und reitet zurück. Nur unterwegs hält er einmal an, bindet das Pferd an einen Baum, legt sich ins grüne Gras und weint bitterlich.

So geht's die ganzen Ferien hindurch täglich hin und her. Nie hat ein gefühlvoller Gymnasiast schmerzlichere Ferien verlebt. Doch Alles geht vorüber. Es kommt der Tag, wo er zum letzten Male bei Max von Mergenthien eintritt, mit dem letzten Brief. Mit zuckenden Lippen, die zu lächeln versuchen, sagt er: «Ihr werdet euch jetzt einen anderen Boten verschaffen müssen, die Schulzeit ist wieder da.»

Mix faßt seine Hand und drückt sie warm. «Wie soll ich Ihnen danken, lieber Fritz? Wir müssen Bruder werden, auf Du und Du! Denn Du bist ein reizender Junge!»

Fritz fühlt sich eigentlich sehr geehrt. Es ist der erste Leutnant, mit dem er sich duzt. Dennoch bringt er das vor, was ihn schon so lange bedrückt: «Wie Sie – wie Du mir danken sollst? Nenne mich nie mehr einen reizenden Jungen!...»

Недаром Фриц воспитался на греческих героях: у него стойкая душа. Поэтому он отвечает торжественным, хотя несколько глухим голосом.

– Ты можешь на меня положиться. Ведь я поклялся тебе!

Теперь Клара, действительно, бросается к нему на шею и целует его: – Фриц, ты прелестный мальчик!

Горький поцелуй, обидное слово! считается «прелестным мальчиком», когда любишь глубоко и чувствуешь себя невыразимо несчастным. Это жестоко!.. Но самоотверженно седлает Фриц свою лошадь и отправляется в гарнизон Макса фон Маргентин. Тот встречает его, сияя от радости и счастья, также бросается к нему на шею и также восклицает: – Фриц – простите мою фамильярность – вы прелестный мальчик!.. Фриц мужественно глотает подступившие слезы, получает ответ на письмо и едет обратно. Лишь дорогой он слез с лошади, привязал ее к дереву, бросился на зеленую траву и горько заплакал.

Все каникулы Фриц ежедневно совершает этот путь. Никогда еще не приходилось чувствительному гимназисту проводить более горькие каникулы. Но всему бывает конец. Наступил день, когда он в последний раз является к Максусу Мергентину с последним письмом. Губы его подергивались, вот он, стараясь улыбнуться, говорит: вам придется теперь позаботиться о новом вестовом; мои каникулы кончились.

Макс берет его за руку и сердечно пожимает ее. Как мне благодарить вас, милый Фриц? Мы должны стать братьями, быть на «ты»; ведь ты прелестный мальчик.

Фриц чувствует себя польщенным: это первый лейтенант, с которым он на «ты». Тем не менее он произносит наконец то, что так давно уже гнетет его: – Как вы – как ты должен благодарить меня? Не называй меня никогда прелестным мальчиком...

Как сквозь легкую дымку видит Фриц эти отдаленные образы, окрашенные бледными красками и воспоминаниями, сотканными из мечты и действительности. Но вот на синем фоне моря выделяется женская фигура. Он видит ее через полузакрытые веки. Уже несколько минут стоит перед ним Клара, с улыбкой и удивлением глядя на него.

– Неужели ты спишь, Фриц? – смеется она.

Wie durch einen feinen Schleier sieht er diese alten Bilder, gemalt mit den blassen Farben der Erinnerung, gemischt aus Traum und Wahrheit. Vom großen, sonnigen, blauen Hintergrunde des Meeres hebt sich eine Frauengestalt ab. Er blinzelt sie unter halbgeschlossenen Lidern hervor an. Frau Klara steht schon seit ein paar Minuten vor ihm, betrachtet ihn ergötzt.

«Schläfst Du denn, Fritz?» lacht sie.

Und er darauf, noch ganz dämmrig: «Wenn uns in der Mitte unseres Lebens ein Schlaf befehle, gleich jenem der eingepuppten Raupe, und wir nachher erwachten...»

«So erwachte doch, Mittagsschläfer!»

Ermuntert fährt er jetzt in die Höhe, lächelt auch ein wenig und sagt: «War mir's doch...Ich glaube, Du hast mich vorhin nach meinem merkwürdigsten Abenteuer gefragt? Nicht?»

«Ganz Recht. Lass' also hören!»

«Mein merkwürdigstes Abenteuer war, dass ich einst eine Raupe gewesen.»

«Ich verstehe nicht.»

«Oder ein ‚reizender Junge‘, wenn Dir das lieber ist.» So hoch hat nimmermehr mein Herz geschlagen, so atemlos, so glücklich und unglücklich wie damals war ich nie wieder in meinem Leben...In dem Buche da hab' ich etwas Sonderbares, Köstliches gefunden. Lies!.. Ein Bruch geht durch unser Wesen, und teilt es wunderbar in Raupe und Schmetterling. In meiner Art lese ich das so: Wenn wir selber nicht mehr lieben, werden wir geliebt. Das Erste ist aber viel seliger als das Zweite. Und darum meine ich, dass die Raupe weit, weit mehr zu beneiden ist, als der Schmetterling...»

Herz/T. Philosophische Erzählungen. Berlin, 1900. S. 191–203.

А Фриц в ответ бормочет как сквозь сон: – Если бы посреди нашей жизни мы впали в спячку, подобно превратившейся в куколку гусенице, а затем пробудились бы...

– Так проснись же, лентяй?

Очнувшись, Фриц теперь вскакивает и, слегка улыбаясь, спрашивает:

– Мне кажется... Ты меня раньше спросила о моем замечательном приключении? Не так ли?

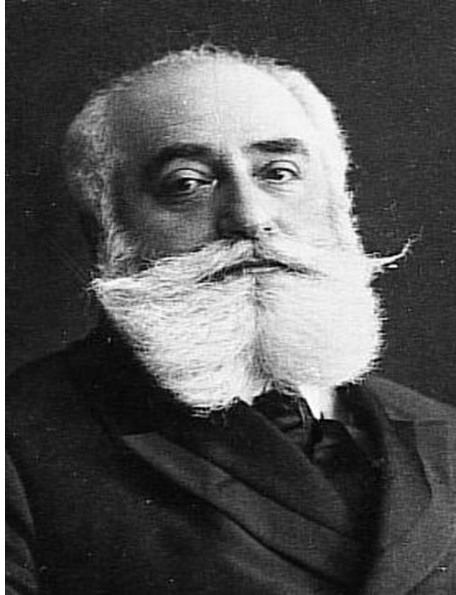
– Совершенно верно. Рассказывай!

– Мое замечательное приключение состоит в том, что я был когда-то гусеницей.

– Я не понимаю.

– Или «прелестный мальчик», если ты хочешь. Никогда в жизни мое сердце не билось так сильно, никогда я не был так безумно счастлив и так глубоко несчастен, как тогда!.. В этой книге я нашел нечто удивительное, драгоценное. Прочти!.. В нашем существе происходит перелом, разделяющий его на гусеницу и бабочку. Я же читаю эти слова по-своему, так: Когда мы перестаем любить, тогда начинают любить нас. Но в первом случае испытываешь несравненно высшее блаженство, чем во втором. А потому я думаю, что гусенице можно позавидовать гораздо больше, чем бабочке...

Е.К.



Макс Нордау
(Simon Maximilian Südfeld, 1849–1923)

Макс Нордау (Simon Maximilian Südfeld, 1849–1923) – еврейский политик, писатель и философ, врач-психиатр, соучредитель Всемирной сионистской организации. Получил всемирную известность благодаря своим контroversальным сочинениям «Обычная ложь культурного человечества» (1883), «Парадоксы обычной лжи» (1885; русский перевод «В поисках за истиной», 1891), «Вырождение» (1892), в которых резко осуждал пришедшие в упадок религию и социальное устройство, рассматривал психологические проблемы с позиций научной медицины, а также отрицательно оценивал распространение популярных в литературе эпохи fin de siècle художественных направлений как индикаторов процесса вырождения цивилизации.

После знакомства с Т. Герцлем в 1892 г. стал одним из главных идеологов сионизма, в создании еврейского государства видел возможность воплощения собственной «философии солидарности». С 1897 г. принимал активное участие в Сионистских конгрессах, выступил автором Базельской программы, послужившей фундаментом для создания государства Израиль.

Критика и библиография

Впервые имя Макса Нордау появляется на страницах периодики Сибири в 1893 г. Автор заметки из рубрики «Литературная беседа» (Сибирский вестник. – 1893. – № 30) сообщал о самой популярной идее Нордау, продолжившего изыскания своего учителя Ч. Ломброзо: «В наше время масса явлений общественной жизни находит себе с легкой руки Ломброзо объяснение в физическом, нравственном вырождении. Несомненные симптомы такого вырождения известный Маркс Нордау видит в новых литературных школах символизма, декадентства, мистицизма». Вслед за этим «Томский справочный листок» (с 1897 г. «Сибирская жизнь») в 1894 г. в разделе «Библиография» печатает отзыв о книге Нордау «Вырождение» («Entartung»). По мнению томского рецензента, сочинение Нордау «представляет много поучительного для русских читателей, между прочим, потому, что касается многих нынешних явлений европейской литературы, которые большей частью у нас очень малоизвестны: это – явления обскурантные или такие, которые он считает прямо психопатическими». Вскоре томский читатель получил возможность самостоятельно познакомиться с книгами Нордау. Среди объявлений «Томского листка» находится информация о том, что «в

книжном магазине П.И. Макушина в Томске получены новые книги: Нордау. Вырождение. СПб. 94 г.» (№ 148. 1895); а также «Нордау. В поисках за истиной. Изд. 3. СПб., 92 г.» (№ 147. 1895).

Революционные для своего времени взгляды Нордау на литературу, преступность и человеческую психику получают более глубокое освещение в сибирских публикациях начала XX в.: в «Сибирском вестнике» в 1902 г. выходят две статьи: «Нордау о русских писателях и о себе» (№ 170) и «Нордау о преступности» (№ 262). В первой из них анализируется интервью с М. Нордау, поразившим корреспондента одной из центральных отечественных газет осведомленностью в русской литературе и общественной жизни. *«М. Нордау заявил, что он большой поклонник русских, – пишет автор в томской заметке, – это, собственно, и побудило его читать лекции в русской высшей школе социальных знаний, хотя до сих пор он уклонялся от лестных приглашений читать лекции в других парижских высших школах. Я бы очень охотно приехал в Россию, тем более, что вынес о ней самое светлое воспоминание из моего первого путешествия по России, <...> которая всегда живо интересовала меня».* Непримируемый Нордау в публикации «очеловечивается», оказывается, что он «любит Россию», хотя и не приемлет философии многих ее классиков, в частности Л. Толстого.

Во второй статье анализируется полемика между Нордау и его учителем Ломброзо по поводу преступности как сущностной человеческой склонности, а также по поводу основных положений уголовно-антропологической доктрины. Очевидно, тема преступления и наказания воспринималась в Сибири очень остро из-за социокультурной специфики региона, поэтому спор о преступнике особенно занимал читателей и корреспондентов. По сообщению сибирского издания, Нордау утверждает, что преступник – не атеист, как полагает его учитель Ломброзо, и не дикий зверь, не пережиток прошлого, а *«паразит и, как таковой, продукт сравнительно новейшего времени»*, при этом преступник *«может не носить на себе никакой бросающейся в глаза печати; мало того, в нем можно даже видеть представителя передовой расы, если обращать внимание на ту или иную функцию его организма, взятую в отдельности. Тем не менее, он – паразит и, как паразит, всегда – *tinus habens* по сравнению с автомобилями, с нормальными людьми, всегда отмечен известным нравственным недочетом».* «Удивительно, – заключает местный журналист, – что за Максом Нор-

дау, отрицающим религиозно-духовное отношение к преступнику, остается последнее слово. Очередь за Ломброзо». Однако сама позиция Нордау при этом никак не осуждается.

Итак, сибирскому читателю идеи Нордау о современном вырождении западной литературы и искусства, о преступности и женском вопросе, были донесены в полной мере, но с несколько измененной модальностью. Если европейские современники автора воспринимали и осуждали его провокации во многом как риторический ход, то во многом наивное субэтническое сознание сибиряка принимало эти выступления как истинно задающие ход истории и современной философии, и часто с радостью обнаруживались некоторые созвучия в антимодернистском настрое изречений Нордау и тенденциях формирующейся местной словесной культуры и мысли.

Рецензии

В «Сибирском вестнике» в 1900 г. (№ 268) в рубрике «Театр и музыка» опубликован отзыв на драму М. Нордау «Право любить» (*Das Recht, zu lieben. Schauspiel in vier Aufzügen. 1892*), данную 5 декабря, которая, по мнению рецензента, «далеко не упрочивает за известным философом и публицистом известности драматурга», поскольку «выше «права любить» автор ставит долг, семью, честь. «Все это может быть и так, – замечает рецензент, – только драма-то построена довольно шаблонно и даже неверно. <...> Кончается она тем, что замужня женщина, полюбившая другого, готова каяться в своем увлечении. Избранник ее оказался более способным на ни к чему не обязывающие интрижки, чем на серьезное чувство. Ну, а если бы на месте его был более достойный человек?».

Большее одобрение критики получает драматургия Нордау, посвященная еврейской теме. Успех на сибирских сценах имела сионистская драма «Доктор Кон» (*Doktor Kohn; bürgerliches Trauerspiel aus der Gegenwart in vier Aufzügen. 1898*), приспособленная для русской сцены А.П. Бурд-Восходовым и получившая заглавие «Два мира». Рецензия на ее повторную постановку появляется в «Сибирском вестнике» (1901. № 241) в рубрике «Театр и музыка»: «третьего дня в театре Королева была поставлена во второй раз драма Макса Нордау «Два мира», посвященная еврейскому вопросу. Насколько верно или неверно освещает этот вопрос автор драмы – должна решить

специальная критика, наше же дело только констатировать, что пьеса сценична, богата драматическими положениями и с начала до конца смотрится с неослабевающим интересом. Исполнена драма была с успехом». В 1902 г. одобрительный анонс постановки драмы находим уже в тобольском «Сибирском листке» (№ 25): «Ставится в первый раз “интересная драма известного писателя Маркса Нордау “Два мира”»».

Переводы

Вошедшие в хрестоматию два из трех переводов из Нордау, представленные в томских газетах, заимствованы из сборника «Seelen-Analysen» (1903) и находятся в полемической связи. Рассказы «I. So» («Так») и «II. Anders» («Иначе») из раздела «Как женщины любят» («Wie Frauen lieben») опубликованы в «Сибирском вестнике» в обратной последовательности под заглавиями «Как любят женщины» и «Как они любят». Выбор переводчиков пал на один из ранних циклов, созданных в досионистский период, когда Нордау – приверженец идей Ницше, практикующий и философствующий психотерапевт – посредством литературных эзерсисов пытался представить читателю научное освещение темы женской любви. Рассказы представляют мнение философа и психотерапевта о типологии женского чувства, что подтверждается контекстом публикаций.

Последним в 1897 г. выходит рассказ «Без счастья», где снова в центре оказывается женская судьба, теперь уже в интерпретации мужчины-доктора, пытающегося посредством психоанализа реконструировать сущность «внутреннего человека», стоя над трупом молодой красивой дамы. То, что и ее жизнь оказывается бессмысленной по своей сущности, также является репрезентативным высказыванием для скептика и революционера Нордау, обратившегося в сионисты лишь с середины 1890-х гг. Именно этот его скандально известный всему миру образ непримиримого новатора, рассматривающего человека в своих рассказах с позиции гендерных психопатологий, отобразился в сибирских переводах. Однако угол этого отражения оказался значительно удален от адекватного: категоричность и деструктивная риторика Нордау, отрицание современности и пессимизм в отношении свежих ветвей обратились в пространстве сибирской литературной периодики в увещевание мудреца, попытку призыва к вечным ценностям.

Публикации

Критика

М. Нордау о русских писателях и о себе // Сибирский вестник. – 1902. – № 170.

М. Нордау о преступности // Сибирский вестник. – 1902. – № 262.

Литературная беседа // Сибирский вестник. – 1893. – № 30.

Библиография // Томский справочный листок. – 1894. – № 4.

Объявления. Книжный магазин Михайлов и Макушин // Томский справочный листок. – 1894. – № 85.

Объявления // Томский листок. – 1895. – № 147.

Объявления // Томский листок. – 1895. – № 148.

Современная Ева // Сибирский вестник. – 1896. – № 271.

Театральные рецензии

Нордау М. Право любить // Сибирский вестник. – 1900. – № 268.

Нордау. Два мира // Сибирская жизнь. – 1901. – № 241.

Переводы

Как любят женщины (Макса Нордау) // Сибирский вестник. – 1894. – № 147.

Нордау. Как они любят // Сибирский вестник. – 1896. – № 279.

Без счастья Макса Нордау // Сибирская жизнь. – 1897. – № 201.

Оригиналы

Nordau M. Seelenanalysen. Berlin, 1903.

II. Anders

«Und so wären wir wieder mal beisammen, mein alter Junge», sagte Wolf Breuning mit innigem Behagen und goss seinem Freunde Sigmund Friese das erste Glas Wein voll.

«Auf das es bis zum nächsten Wiedersehen nicht so lange dauere!» rief Sigmund, stieß an und trank aus.

Wolf Breuning, ein schöner großer Mann mit kühnen Blauaugen und langem, geteiltem Barte, der wie aus Fäden roten Goldes gesponnen schien, lebte als Leiter einer chemischen Fabrik in Paris. Sigmund Friese, kleiner als er, mit sanftem, etwas gefühlsamen Gesicht, einem kurzen blonden Krausbart und vornehm gelichtetem Kopfhare, das bereits mit schonender Andeutung eine Diplomaten-Glatze skizzierte, lehrte Mathematik an einer amerikanischen Hochschule. Die beiden waren süddeutsche Landsleute und Jugendfreunde und hatten sich einst von der gleichen Uferstelle in die Fluten des Lebens gestürzt, waren aber in der Folge weit auseinandergespült worden. Sigmund war nach langer Abwesenheit zur Hochzeit seiner Schwester aus Washington nach Europa herübergekommen und hatte die Gelegenheit benützt, um auf dem Wege nach Mannheim von Havre aus einen Abstecher zu seinem Freunde Wolf in Paris zu machen. Er war von diesem an der Bahn erwartet und nach seiner angenehmen Junggesellen-Wohnung in der Rue Notre Dame de Lorette gebracht worden. Jetzt, kaum eine Stunde später, waren die ersten Ergüsse ausgetauscht, und die Freunde saßen vergnügt beim Mahle.

«Weißt du, dass es seit dem letzten Male dreizehn Jahre sind?» fragte Wolf.

«Dreizehn Jahre!» seufzte Sigmund. «Wievielmahl werden wir ein solches Zeitmaß noch erleben?»

«Ein solches überhaupt nicht wieder», erwiderte Wolf, «die Zeit vom vierundzwanzigsten bis zum siebenunddreißigsten Jahre».

«Die Festzeit des Lebens!» sagte Sigmund; und nach einer Pause, indem er das Glas zu den Lippen führte: «Vorbei, vorbei!»

«Du hast dich nicht zu beklagen», tröstete Wolf; «die Jugend ist fort, aber du hast sie gut benützt. Einen großen Namen in der Wissenschaft, ehrenvolle Stellung, behagliche Verhältnisse...»

Sigmund lächelte schwermütig und zeigte auf seinen kahlen Scheitel.

«Ja, Freund», rief Wolf, «man muss vom Leben nichts Unbilliges verlangen. Zugleich Locken und einen reich besoldeten Lehrstuhl, zugleich

Макс Нордау.
Как любят женщины

– Итак, дорогой мой, мы опять вместе, – говорил Вильгельм Бреннит своему другу Сигизмунду Фризе, наливая ему первую рюмку вина.

– Дай Бог, чтоб мы так долго не ждали следующей встречи! – ответил Сигизмунд, чокнулся с другом и выпил рюмку.

Вильгельм Б. был директором химической лаборатории в Париже, Сигизмунд Ф. – профессором математики в одном из американских университетов; оба родились в южной Германии и с ранних лет были искренними друзьями. С одной пристани выплыли они на бурные волны жизни, далеко унесшие их друг от друга. После продолжительного отсутствия Сигизмунд приехал на свадьбу сестры из Вашингтона в Европу и по дороге остановился в Париже, чтобы повидаться с приятелем. Вильгельм ждал его на вокзале и привез в свою холостую квартиру. Через час, когда прошли первые излияния, приятели сидели за столом, веселые и довольные.

– Знаешь ли, – спросил Вильгельм, – что тринадцать лет прошло с тех пор как мы расстались?

– Тринадцать лет! – повторил с вздохом Сигизмунд. – Сколько же придется еще прожить таких периодов?

– Вероятно, никогда уже не будем проживать такого, какой был прожит между четвертым и тридцать седьмым годами нашей жизни.

– Праздничное в жизни время, – сказал Сигизмунд и через минуту прибавил: – Прошло, прошло!

– Ты не должен жаловаться, – утешал его Вильгельм, – молодость прошла, но ты хорошо ею воспользовался. В науке громкое имя, почетное положение, прекрасные жизненные условия ...

Сигизмунд мрачно захохотал, указывая на свою лысую голову.

– Друг мой! – вскричал Вильгельм. – Необыкновенного не следует требовать от жизни. Иметь одновременно густые кудри и богатую кафедру, все зубы и славу, молодость и ордена, состояние и всякого рода успехи – всего этого нельзя иметь, хотя бы родиться удельным принцем.

– Жалко подумать, как велики были наши требования, и как мало мы получили! О чем мы мечтали и что действительно имеем!

sämtliche Zähne und Berühmtheit, zugleich Jugend und Orden, Vermögen, Erfolge aller Art, das kann man nicht haben, man würde denn als Prinz geboren».

Wenn man bedenkt, wie viel man erstrebt, und wie wenig man erreicht! Was man träumt, und zu welchen Wirklichkeiten man erwacht!»

«Sigmund, du bist ungerecht. Hast du dir vor dreizehn Jahren in deinen kühnsten Erwartungen mehr vorgestellt, als du jetzt erreicht hast?»

«Vielleicht nicht. Aber damit es mir Freude mache, hätte ich es gleich damals erlangen müssen».

«Natürlich ist man am Ziele müder als beim Aufbruch».

«Aber diese Müdigkeit beeinträchtigt doch sehr wesentlich die Freude darüber, dass man angekommen ist».

«Ach, ich weiß ja», rief Wolf, «was dir allein zum Glücke fehlt».

«Das Schicksal».

«Nun?»

«Eine Frau».

«O! Du hast doch kein Recht, die Ehe zu predigen, du bist ja selbst nicht verheiratet».

«Ich bin um drei Jahre jünger als du».

«Aber doch auch schon siebenunddreißig».

«Allerdings», sagte Wolf und schwieg eine Weile nachdenklich. «Was willst du?» fuhr er dann fort. „Das Schicksal fügt es so, dass man in der Fremde lebt, ohne richtigen Familienverkehr, fern von dem Kreise, an den die frühen Erinnerungen und ersten Herzenszüge anknüpfen; man sucht nicht recht, der Zufall hilft nicht finden, man richtet sich das Dasein mit Gewohnheiten ein, die für eine Frau eigentlich gar keinen Platz mehr übrig lassen, und so verfließen die Jahre, und man merkt eines Tages, dass man ein alter Junggeselle geworden und das es zu spät sei, das noch zu ändern.

«Das ist ganz mein Fall; ich glaubte nicht, dass es auch der deine sei».

«Bei mir», erwiderte Wolf, «tritt noch etwas anderes hinzu. Erinnerungen, welche die Ehe eher fürchten als wünschen lassen. Man weiß, wie man schon geliebt worden ist, und besorgt, dass man es so doch nie wieder finden werde. Man vergleicht im Voraus eine kühl tugendhafte Gattin mit dem unheiligen Liebchen, dessen entferntes Bild die Vergangenheit auch noch etwas verklärt, und bekennt sich zerknirscht, dass man zum Ehemanne mit phlegmatischer Kochtopf-Anbetung endgiltig verdorben sei».

«Du denkst am Ende noch an Helene?» rief Sigmund überrascht.

– Нет, ты несправедлив! Разве тринадцать лет тому назад, самыми смелыми мечтами, мог ты требовать больше того, что имеешь теперь?

– Быть может, что нет, но я не вполне доволен и сразу должен был получить то, что теперь имею.

– Очевидно, что человек чувствует себя более уставшим, достигнув цели, чем тогда, когда отправляется в путь для достижения ее.

– Да, но утомление сильно умаляет радость, какую доставляет благополучный конец путешествия.

– Знаю, знаю! Но тоже знаю, чего тебе не достает до полного счастья.

– Чего?

– Жены.

– Но ведь и ты, как холостяк, не имеешь права советовать мне жениться.

– Я на три года моложе тебя.

– Все-таки тебе уже тридцать семь.

– Это верно, – согласился Вильгельм и после некоторого раздумья прибавил: – Что делать? Судьба заставляет жить на чужой земле, без правильных семейных отношений, далеко от тех, с которыми связывают человека первые воспоминания, первые сердечные порывы; плохо ищется, случай не помогает найти, жизнь устраивается на основании привычек, почти не оставляющих места для жены; так проходят годы, пока, наконец, сделаешься старым холостяком, и тогда уже поздно будет делать какие либо изменения.

– Это точь-в-точь моя история, но и не думал, чтобы и с тобою то же происходило.

– У меня, – ответил Вильгельм, – кое-что еще есть. Есть воспоминания, которые скорее заставляют опасаться, чем желать супружеской жизни. Целый век прошел с тех пор, когда я любил, и беспокоит меня мысль, что никогда уже не будет того, что было. Я вперед сравниваю холодно-добродетельную супругу с ветреной любовницей, облик которой освещает мое прошлое. Чистосердечно прихожу к убеждению, что я не способен быть мужем, флегматически обожающим кухню своей госпожи.

– Быть может, ты еще думаешь о Елене? – с удивлением спросил Сигизмунд.

– Как не думать. Ведь и ты еще думаешь о ней!

«Wie sollt' ich nicht?» gab Wolf zurück. «Du denkst ja auch noch an sie, wie ich sehe».

«Es ist wahr», bestätigte Sigmund. «Ich habe sie nicht vergessen. Sie war ein berückend schönes und anmutiges Weib. Welcher Verführungsmund! Welche Laster-Augen! Und die Redegewandtheit. Das Eichkätzchenwesen. Wo sie war, da füllte sie alles mit Leben und Aufregung».

Wolf blickte sinnend vor sich hin und schwieg.

«Sie hatte dich sehr lieb», fuhr Sigmund fort.

Wolf sagte noch immer nichts.

«Und du sie auch».

«Ja», erwiderte Wolf endlich und fuhr sich mit den Fingern langsam durch den roten Bart. «Ich hatte Helene sehr lieb. Solange ich mit ihr zusammen war, merkte ich es gar nicht so, und als sie das Kind bekam, war ich sogar sehr bedrückt durch den Gedanken, dass ich sie nun für immer am Halse haben werde. Erst als wir auseinander waren, entdeckte ich, welchen großen Platz sie in meinem Leben eingenommen hatte. Und je weiter ich mich von jener Zeit entferne, umso größer wird er, statt kleiner zu werden. Eine Umkehrung aller Gesetze der Perspektive».

«Aber eine verständliche Erscheinung», bemerkte Sigmund. «Helene ist dir in der Erinnerung zur Verkörperung deiner Jugend geworden, und die Sehnsucht, mit der du an sie denkst gilt mindestens ebensosehr deinen vierundzwanzig Jahren wie ihrer Person».

«Das mag sein. Tatsache ist, dass ich Helene in einem goldenen Lichte von Jugend und sorglosem Glücke sehe und nicht an sie denken kann, ohne nasse Augen zu bekommen».

«Weißt du, Freund Wolf, dass du vielleicht unrecht gehabt hast, sie zu verlassen?»

«Es gibt Stunden, in denen ich es glaube».

«Wenn man ein Wesen gefunden hat, dass man liebt und von dem man geliebt wird, sollte man um keinen Preis davon lassen. Man weiß nie, ob man es ersetzen wird. Und Liebe ist ja doch das einzige, was das Leben lebenswert macht».

«Was willst du, Sigmund? Das ist die Weisheit des reifen Alters. Mit vierundzwanzig Jahren ist man noch nicht zu dieser Erkenntnis vorgedrungen. Ich sah damals nur, dass ich Helene im Luxembourg-Garten aufgelesen hatte, also recht eigentlich auf der Straße, ich wusste, dass ich nicht ihre erste Liebe war...».

«Aber ihre einzige», warf Sigmund dazwischen.

– Действительно, – подтвердил Сигизмунд. – Я не забыл ее. Это была заманчивая, красивая и привлекательная женщина. Какой чарующий ротик! Что за плутовские глаза! Какой бойкий разговор! Там, где она была, все было полно жизнью и возбуждением!

Вильгельм молчал, задумчиво глядя вперед.

– Она очень тебя любила, – продолжал Сигизмунд.

Друг все молчал.

– Ты тоже любил ее.

– Да! – ответил, наконец, Вильгельм, поглаживая свою бороду. – Я очень любил Елену. Пока мы были вместе, я сам этого не чувствовал, когда же родился ребенок, меня даже преследовала мысль, что она вечно будет сидеть на моей шее. Но когда мы расстались, тогда я только почувствовал, какое большое пространство она занимала в моей жизни. Это пространство тем более увеличивалось, чем больше разделяло нас время. Переворот во всех законах перспективы!

– Но это понятное явление, – прибавил Сигизмунд. – В воспоминаниях Елена воплощает твою молодость, и тоска, с какой ты о ней думаешь, одинаково относится к ней, как и к твоим двадцати четырем годам.

– И это может быть. Но что в воспоминаниях я вижу Елену в золотистом свете счастья и молодости, что слезы навертываются на глаза, когда о ней думаю, это факт.

– А знаешь ли, Вильгельм, ты, быть может, не совсем хорошо поступил, расставаясь с ней.

– Иногда и я так думаю.

– Если есть у нас любимое и любящее существо, ни за что в мире не следует покидать его, так как неизвестно, возможно ли будет его заменить. Жизнь красит одна только любовь.

– Что делать, эту премудрость дает лишь зрелый возраст. У кого двадцать четыре года, тот ее еще не постиг. Но я знал только то, что нашел Елену в Люксембургском саду, следовательно, я знал, что она не первого меня любила.

– Помнишь ли, – говорил Сигизмунд после непродолжительного молчания, – я приехал к тебе тринадцать лет тому назад? Тогда я был в первый раз в Париже, Город, его жизнь, люди, все сильно действовало на меня, и среди шумного движения ты с Еленой. Твоя комнатка в тихой улице показалась мне заколдованным островом среди бурного океана. С тех пор я часто вспоминаю тот вечер, когда

«So sagte sie ja. Aber ich hatte dennoch die Empfindung, dass ich ihr nichts schulde. Liebe um Liebe. Das gab ich ihr, und mehr durfte sie nicht verlangen. Es war doch eine höchst leichtfertige Beziehung, und ich fühlte sehr gut ihre Bedenklichkeit. Ich hätte damals jedem andern in meiner Lage geraten, sich auf gute Art loszumachen, und nun – ja, ich habe mir dasselbe geraten».

«Das Herz muss dir schon damals Unrecht gegeben haben. Ich glaube, heute gibt dir auch der Verstand Unrecht. Zuletzt sind die Herzensgründe von den Verstandesgründen doch nicht so weit entfernt, wie Afterweise wohl glauben».

Wolf schwieg.

«Weißt du noch», hob Sigmund wieder an, «wie ich dich vor dreizehn Jahren von Heidelberg aus besuchte? Ich war zum erstenmal in Paris. Die Stadt, das Leben, die Menschen, die Dinge wirkten überwältigend auf mich. Und mitten in dieser tobenden Bewegung die reizende Idylle; du und Helene. Dein Hotel-Zimmerchen in der stillen Straße schien mir eine Zauberinsel im brüllenden Ozean. Wie hieß die Straße doch?».

«Rue St. Dominique».

«Richtig. Ich hätte Lust, dahin zu wallfahrten, das alte Hotel wiederzusehen».

«Unmöglich. Das Hotel ist niedergerissen. Die Straße ist verschwunden. Dort läuft jetzt der prächtige Boulevard St. Germain».

«So findet man nichts wieder! So bleibt von allem Schönen, dass man erlebt, nur der Schatten der Erinnerung in unserer Seele! Man soll nie zu den Stätten vergangenen Glücks zurückkehren, wenn man nicht sicher ist, sie unverändert anzutreffen».

Sigmund wurde immer weicher und empfindsamer.

Das war so seine Art. Er fuhr fort: «Wie oft habe ich seitdem jenen Abend wieder durchgelebt, als du zur Soirée des Doktors Amandier gegangen warst und mich mit Helenen allein gelassen hattest. Ich war sehr ungeschickt. Ich wusste nicht, wie ich mich zu ihr stellen sollte, und je unbefangener sie war, umso beklommener fühlte ich mich. Ich machte ihr Komplimente, sie lachte. Die Unterhaltung war mühsam, denn mein Französisch war nicht besonders. Sie hatte Mitleid mit mir und setzte sich ans Piano. Sie spielte sehr hübsch. Manchmal wandte sie sich um und lächelte mich an. Sie war höchst verführerisch, und mir wurde sehr warm ums Herz. Ich beneidete dich. Ich plante allerlei Häßliches. Ich machte ihr den Hof. Heute gestehe ich es dir. Du bist mir doch nicht böse?»

ты ушел в гости к доктору Амандье и оставил нас вдвоем с Еленой. Мне было очень неловко, не знал, как с ней держаться, но чем более я был стеснен, тем более она была свободна. Я говорил комплименты, она хохотала. Разговор не клеился, я плохо говорил по-французски. Она смеялась надо мною и села за рояль. Играла она отлично ... неоднократно оборачивалась ко мне и улыбалась. Я увлекался, и у меня возле сердца становилось очень жарко. Я завидовал тебе, проектировал все пакости и ухаживал за ней. Теперь я признаюсь, ведь ты не сердишься на меня?

– Успокойся, – ответил Вильгельм. – Когда я вернулся, Елена сама мне это рассказала, и я вовсе не был в претензии на тебя.

– Спасибо. Много кое-чего я ей наговорил, но когда взволнованный, с раскрасневшимся лицом, я начал серьезно объясняться, она преспокойно вынула из коробки ту собачонку, которую подарил я и в ее курчавой шерсти начала искать ... блох! Это привело меня в такую ярость, что я вскочил и убежал не простившись.

– Но на другой день все уже прошло.

– Конечно. Когда кровь успокоилась, ее равнодушие к моим страданиям внушило уважение к ней. Мы сделались лучшими друзьями: «Я вас люблю с тех пор, как вы перестали говорить, что любите меня», – сказала она мне однажды. Помнишь ли нашу воскресную прогулку?

– Как же. В Сен-Клу, с Танемане. В этот день Елена была очень влюблена, а ты покраснел, как рак, когда она сказала, что для полностью нашего веселья следовало, чтобы и ты взял с собою подругу.

Сигизмунд тяжело вздохнул.

– Да, тогда мы были молоды, – заключил Вильгельм.

– Но скажи мне, Вильгельм, что сделалось с Еленой?

– По всей вероятности, отлично себе живет.

– Разве ничего о ней не знаешь?

– Что знаю, то и скажу. Если помнишь, когда нужно было ехать в Испанию, я отказался от поездки, не желая оставить ее одну. Через шесть недель наш ребенок умер. Я бы все сегодня отдал, чтобы этот ребенок был у меня, но тогда я счел, что смерть развязывает соединявший нас узел. Я сказал Елене, что мой отъезд необходим. Она хотела ехать со мною, но это было невозможно. Тогда наступили сцены, полные страсти, но я выдержал. Она обещала, что вернется к

«Sei ruhig», lächelte Wolf, «Helene hat es mir ja gleich erzählt, als ich nach Hause kam. Ich war nicht eifersüchtig auf dich».

«Danke», sagte Sigmund mit drolliger Empfindlichkeit. «Ich sagte ihr mit dem Aufgebote meines ganzen Wortschatzes allerlei Schönes; aber während ich aufgeregt und mit heißen Wangen auf sie losredete, holte sie sich aus seinem Schlafkorbe das kleine Hündchen, das ihr unser Freund Tannemann geschenkt hatte, und suchte friedlich in seinem kraushaarigen Fellchen nach Flöhen. Darüber wurde ich so wütend, dass ich aussprang und ohne Gruß fortlief».

«Tags darauf warst du aber wieder versöhnt», bemerkte Wolf.

«Natürlich. Als mein Blut erst ruhig geworden war, flößte mir ihre Kaltblütigkeit angesichts meines verliebten Schmachdens Hochachtung ein. Wir wurden ja dann die besten Freunde, und sie bemerkte zu mir: „Seit Sie nicht mehr sagen, dass Sie mich lieb haben, habe ich Sie lieb.“ Und denkst du noch an den Sonntags-Ausflug?»

«Freilich. Nach St. Cloud. Mit Tannemann».

«Es war zum Totlachen. Helene redete absichtlich äußerst schnell, damit Tannemann, der sich auf sein Französisch etwas wusste, nicht folgen könne. Er ärgerte sich blau, dass er sie immer bitten musste, alles zwei- oder dreimal zu wiederholen. Welch ein heiteres Frühstück auf dem Rasen mitten zwischen den Ruinen!»

«Du trugst die zwei Weinflaschen in den Taschen deines Überrocks».

«Und du den Schinken und das Huhn. Helene hatte im Körbchen das Brot mit der Butter und die Essbestecke. Tannemann sollte für den Nachtmahl sorgen. Als er aber dazu kam, behauptete er, es sei ein Missverständnis, ihm sei nichts gesagt worden».

«Er ist noch immer der Kümmelspalter, der er damals war».

«Ob auch noch der alte Schulfuchs? So oft Helene dich küsste, sah er entrüstet weg».

«Helene war an dem Tage sehr verliebt. Und was du für roten Kopf bekamst, als sie sagte, zur vollen Gemütlichkeit fehle nur, dass du dir auch eine kleine Freundin mitgebracht hättest».

Sigmund seufzte tief auf.

«Ja, man ist eben jung gewesen», beschloss Wolf den Rückblick.

«Und du weißt wenigstens, dass du jung gewesen bist. Dir bleiben schöne Erinnerungen, die nichts und niemand dir rauben kann».

Wer je geliebt in Liebesarmen,
Der kann im Leben nie verarmen;

отцу в Дуэ, и сдержала слово, так как некоторое время я оттуда получал ее письма.

– Так вы писали друг другу?

– Да, сначала. Через некоторое время она опять вернулась в Париж, оправдываясь тем, что не могла выдержать в таком мертвом городе, как Дуэ. Затем письменно сообщила мне, что выходит замуж за купца, который не обращает внимания на ее прошлое.

– Ах, черт возьми!

– Чего же ты хочешь, это нравственные убеждения так называемых практических людей.

– А затем?

– Затем, вероятно, сыграли свадьбу. С тех пор я ничего не знаю о Елене.

– Она никогда не старалась повидаться с тобой?

– Вероятно, думает, что я еще в Испании.

– А может, умерла. Невозможно, чтобы люди, которые так сильно любили друг друга в лучшие дни своей молодости, живя, оставались чужими. По крайней мере, я так думаю.

– Эх, брат! Жизнь беспощадно тушит свет.

– Да, но бывает пламя, которое тушит не жизнь, – а смерть.

Несколько месяцев прошло со дня встречи друзей. Сигизмунд Фризе вернулся в Вашингтон и опять преподавал математику, когда однажды получил от Вильгельма письмо следующего содержания: «Дорогой Сигизмунд! Какие странные приключения могут случиться в большом городе! Пишу к тебе под свежим впечатлением. Вероятно, широко раскроешь глаза! Сегодня, около двух часов, я проходил по улице, как вдруг предо мною остановилась шедшая навстречу шикарно одетая дама. Я о чем-то задумался и в первое мгновение прошел дальше, вовсе не обращая на нее внимания. Сделав несколько шагов, я дал себе отчет о том, что видел мимоходом, и бессознательно обернулся. Дама все стояла как вкопанная и смотрела мне вслед. Неуверенно, хотя и с любопытством, я стал приближаться к ней, она же быстро пошла ко мне навстречу, и прежде чем я успел рассмотреть скрытые под густой вуалью черты ее лица, сдавленным голосом вскрикнула: «Я не ошиблась! Наконец это ты! Какое счастье!» С этими словами протянула обе руки, схватила мои и не пустила. Ты угадал, это была Елена. Предо мною самолично стояла та женщина, о которой я так часто думал, а со дня твоего посещения

Und müsst' er sterben, fern, allein,
Er fühlte noch die sel'ge Stunde,
Wo er geliebt an ihrem Wunde,
Und noch im Tode ist sie sein.

«Von dir?» fragte Wolf.

«Ach was, das ist keine Mathematiker-Poesie. Der alte Storm».

«Wahr empfunden, wenn auch etwas flau ausgedrückt. Erinnerungen sind in der Tat ein Reichtum, obschon es traurig macht, in dem Schatze zu wühlen».

«Sage mir, Wolf, was ist aus Helene geworden?»

«Es geht ihr hoffentlich ganz gut».

«Du weißt es nicht?»

«Ich will dir sagen, was ich von ihr weiß. Ich sollte, wie du dich vielleicht erinnerst, damals nach Spanien reisen. In der Kupferbergwerk-Angelegenheit. Ich musste darauf verzichten, weil ich Helene in ihrem Zustande nicht allein lassen wollte. Unser Kind starb, als es sechs Wochen alt war. Was gäbe ich heute darum, wenn ich den Jungen hätte. Zu jener Zeit betrachtete ich seinen Tod als die Lösung eines Knotens. Ich stellte Helene vor, dass ich nunmehr nach Huelva müsse. Sie wollte mit. Das ging natürlich nicht. Es gab leidenschaftliche Auftritte, aber ich riss mich los. Sie versprach, zu ihrem Vater nach Douai zurückzukehren, und sie hat ja auch Wort gehalten, denn eine Weile kamen ihre Briefe aus Douai».

«Ihr schreibt einander also?»

«Ja, anfangs. Nach einiger Zeit tauchte sie plötzlich wieder in Paris auf. Sie schrieb zur Entschuldigung, es habe sie nicht länger in dem toten Douai, bei dem mürrischen alten Vater gelitten. Hierauf hörte ich lange nichts von ihr. Dann kam ein Brief, in welchem Sie mir erzählte, sie werde sich mit einem Weinhändler verheiraten, der sich an ihrer Vergangenheit nicht stoße, da ihr Vater ein Opfer gebracht habe».

«Pfui Teufel!»

«Du hast doch vorhin selbst gesagt, ich hätte sie dauernd an mein Leben knüpfen sollen».

«Ja, aus Liebe, nicht um eine Mitgift. Auch hattest du ihr weniger zu verzeihen als der Weinhändler».

«Was willst du – die Moral der sogenannten praktischen Leute».

«Und dann?»

думал более и с большей, чем когда либо, нежностью; воплощение самых счастливых в жизни мгновений, моя юношеская любовь, о которой я двенадцать лет тосковал, которую я никогда не надеялся встретить! Ты знаешь, что я не слишком нежен, но на этот раз мои глаза сделались влажны. Насилу я выговорил – «Елена!». Мы бросились друг к другу в объятия и – через вуаль – целовались как сумасшедшие; все это среди улицы, в присутствии удивленно смотревших на нас прохожих. Елена взяла меня под руку и молча повела за собою. Остановила мимо проезжавший фиакр, быстро вскочила в карету и тогда только спросила. – «Можно ли к тебе?» – «Конечно». – «Ну, так скажи кучеру твой адрес». И так мы опять сидели рядом, рука об руку, глаза в глаза – это была минута полного счастья и тоски, какой я, кажется, никогда не испытывал. Затем новый поток ласк и поцелуев, но на этот раз без вуали и даже без шляпки. Двенадцать лет не прошли бесследно – но все-таки она была еще красива и представительна. Посыпались вопросы. Я первый должен был рассказать, как жил и что пережил. Обрадовалась тому, что я не женат, и пожала мне руку, когда я сказал, что не переставал думать о ней. Затем начала рассказывать про себя. Она замужем. Счастлива? Не на что жаловаться. Понятно, что муж – это не я, но она и не делает сравнения. Обращается с ней хорошо, денег много, ревнует. Это смешно, – ведь он не любит ее. Вследствие этой ревности она тогда должна была перестать писать ко мне. Тогда еще была глупа, не знала, зачем пишутся письма до востребования!..

Болтая таким образом, мы приехали ко мне. Я был застенчив, как гимназист на первом свидании, я хотел оставить неприкосновенными его прелесть и чарующий запах цветов. Я заговорил о прошлом.

– Эх, милый Сигизмунд! Прежде всего она утверждала, что наше сожительство относится к 1878 году. Когда я с удивлением заметил: «Разве ты могла забыть, что это было в 1876?», несколько сконфузилась, но скоро вышла из затруднительного положения, говоря: «Два года здесь ничего не значат; главное то, что мы были счастливы!» На вопрос, помнит ли наше гнездышко, – «Как же!» – радостно воскликнула, хлопая в ладоши, но относительно подробностей ловко избегала ответов. Я заговорил про тебя – не пишу этого, чтобы тебя огорчить – но, прав, ни малейшего воспоминания! Все забыто! Говорил о Танемане – ничего, ничего! Наконец, когда я упомянул о собачке, тогда отлично вспомнила ее, но не того, кто ее подарил. Я коснулся нашей загородной прогулки, – глаза у нее заблестели, появились все

«Dann wird wohl die Hochzeit stattgefunden haben. Ich habe von Helene nichts mehr gehört».

«Hast du dich nicht bemüht, etwas von ihr zu erfahren?»

«Ehrlich gesagt: nein. Ich glaube nicht, dass ich ein Recht habe, ihr wieder über den Weg zu laufen. Und wozu hätte eine neue Annäherung auch führen sollen, da sie doch verheiratet war? Freilich – manchmal kommt es über mich – aber man bekämpft solche Regungen».

«Das sie nie den Versuch gemacht hat, dich wiederzusehen».

«Sie glaubt vielleicht heute noch, dass ich in Spanien bin».

«Oder sie ist gestorben. Denn wenn man in den herrlichen Tagen der Jugend einander so lieb gehabt hat, ist es unmöglich, zu leben und einander fremd zu werden. So scheint es mir wenigstens».

«Ach, Sigmund, das Leben ist ein grausamer Lichtlöscher».

«Gewiss, aber es gibt Flammen, die das Leben nicht auslöscht. Nur der Tod».

Einige Monate waren seit dem Beisammensein der beiden Freunde verflossen, Sigmund Friese saß wieder in Washington und lehrte Mathematik, da bekam er eines Tages folgenden Brief von Wolf Breuning:

«Liebster Sigmund!

Welche wunderbare Dinge doch der Zufall in der Großstadt fügen kann! Ich schreibe dir unter dem frischen Eindrucke der Begebenheit. Du wirst Augen machen!

Ich ging heute nachmittag gegen 2 Uhr durch die Rue Rochechouart, als plötzlich eine elegant gekleidete Dame, die in entgegengesetzter Richtung daherkam, dicht vor mir stehen blieb. Da ich in Gedanken versunken war, gab ich im ersten Augenblicke gar nicht darauf acht, sondern ging weiter. Erst nach einigen Schritten kam mir die flüchtige Wahrnehmung klar zum Bewusstsein, und ich wandte mich unwillkürlich um. Da stand die Dame noch immer wie eingewurzelt und sah mir nach. Ich ging etwas zögernd, obwohl neugierig, zurück, sie kam mir hastig entgegen, und ehe ich noch hinter dem dichten Schleier ihre Züge unterscheiden konnte, rief sie mit erstickter Stimme: „Ich habe mich nicht geirrt! Du bist es wirklich! Welch ein Glück! Welch ein Glück!“ Und dabei streckte sie mir beide Hände entgegen und erfasste die meinigen und drückte sie und ließ sie nicht mehr los. Du hast es erraten: es war Helene. Was soll ich dir sagen, Freund? Mir war ganz traumhaft zu Mute. Da stand sie nun lebhaftig vor mir, an die ich so oft gedacht, seit deinem Besuche mehr und inniger als je, die Verkörperung meiner glücklichsten Augenblicke, meine

подробности, и с увлечением и восхищением рассказывала о какой-то экскурсии, с завтраком между деревьями и ужасным количеством шампанского, – одним словом, об экскурсии, которой мы никогда не делали!

Как холодный душ! У меня зубы стучали. Заметив, что я сделался холоден, спросила, нет ли у меня любовницы, и обиделась, когда я притворился, что не слышу вопроса. Наконец, сказала, что должна уйти и серьезно осталась в претензии за то, что я не удерживал ее. Ушла – не намекая на новое свидание, я же отпустил ее, не спросив даже, где живет.

Должно быть, не увидимся, а жаль, что повидались. Сегодня только я окончательно потерял Елену, и эта потеря причиняет мне глубокую боль. Был чудный обман зрения, жалко, что я его не сохранил до конца жизни.

Ты был прав, когда говорил: «Пусть никто не возвращается в те места, где прошло его счастье, не убедившись впредь в том, что все осталось без изменений».

Прими поздравления твоего странно взволнованного друга Вильгельма.

Р. S. Должен ли я высказать тебе все, что думаю? Мне кажется, что Елена приняла меня за кого-либо другого.

А. С-ский

von der Erinnerung verklärte Jugendliebe, nach der ich mich zwölf Jahre lang gesehnt, die jemals wiederzusehen ich nicht mehr gehofft hatte! Du weißt, dass ich im allgemeinen nicht sentimental bin, aber mir wurden die Augen feucht. Ich konnte nur sagen: „Helene!“ Und dann waren wir einander um den Hals gefallen und küssten uns – durch den Schleier – wie besessen, alles auf offener Straße und angesichts der Vorübergehenden, die sich neugierig nach uns umsahen. Helene nahm meinen Arm und zog mich rasch fort, ohne ein Wort zu sagen. Eine Droschke fuhr vorüber. Helene rief sie an, stieg hurtig ein und fragte mich erst dann: „Kann man zu dir kommen?“ – „Gewiss,“ rief ich. – „So sage dem Kutscher deine Adresse.“ Nun saßen wir wieder nebeneinander, Hand in Hand, Auge in Auge, es war eine Minute voll Seligkeit und Schmerz zugleich, wie ich sie kaum je erlebt habe. Dann ein neuer Schauer von Küssen und Liebkosungen, diesmal mit zurückgeschlagenem Schleier und sogar abgelegtem Hute – die zwölf Jahre sind natürlich nicht spurlos an ihr vorübergegangen, aber sie ist noch immer eine schöne stolze Erscheinung – dann ging das Fragen los. Ich musste zuerst erzählen, wie es mir immer ergangen war und was ich erlebt hatte. Sie freute sich, dass ich unverheiratet sei, sie drückte mir die Hand, als ich ihr sagte, dass ich nicht aufgehört habe, an sie zu denken. Dann begann sie zu erzählen. Sie sei verheiratet. Ob glücklich? Sie habe nicht eigentlich zu klagen. Der Mann sei natürlich nicht ich, aber sie vergleiche ja auch nicht. Er behandle sie gut. Er verdiene viel Geld. Nur langweile sie sich. Außerdem sei er eifersüchtig. Es ist lächerlich, da er sie doch nicht liebe. Wegen seiner Eifersucht habe sie auch seinerzeit aufhören müssen, mir zu schreiben. Sie sei eben damals noch dumm gewesen und habe nicht gewusst, wozu die poste restante erfunden sei...

So waren wir in meiner Wohnung angekommen. Ich war weich und blöd wie ein Gymnasiast beim ersten Stelldichein. Ich wollte dieses Wiedersehen nicht zu einem banalen Junggesellen-Abenteuer herabwürdigen, ich wollte ihm reinen Blumenduft und Blumenschmelz lassen. Ich begann von der Vergangenheit zu reden –

Ach, lieber Sigmund!

Sie behauptete zuerst, unser Beisammensein falle in das Jahr 1878. Als ich die Hände zusammenschlug und trostlos ausrief: „Was, du hast vergessen können, dass es 1874 gewesen sein?“ da wurde sie ein bisschen verwirrt, half sich aber mit der flinken Bemerkung heraus: „Eine Jahreszahl hat ja keine Bedeutung; die Hauptsache ist, dass wir glücklich waren,

o, sehr glücklich!“ Ich fragte sie, ob sie noch an unser Nestschen denke. “Gewiss!” rief sie und schlug vor Vergnügen die Hände zusammen. Sie wusste auch noch, dass es in der Rue St. Dominique gewesen sei, als ich aber eine Schilderung der Einrichtung der Aussicht aus unseren zwei Fenstern aus ihr herauslocken wollte, da wich sie geschickt aus. Ich brachte die Rede auf dich – ich erwähne das nicht, um dich zu kränken – aber nicht die blasseste Erinnerung! Total vergessen! Ich sprach von Tannemamm – nichts, nichts! Erst als ich an das Hündchen erinnerte, da konnte sie sich seiner entsinnen, nämlich des Hündchens, aber nur ganz dunkel des Gebers. Ich berührte unsern Ausflug – in ihren Augen leuchtete es auf, alle Einzelheiten, auch die kleinsten Züge flogen ihr zu, und sie erzählte mit äußerster Geläufigkeit und ganz durchgeistigt vor Entzücken eine Landpartie nach Robinson mit Frühstück in den Baumzweigen und unvernünftig viel Sekt – die wir nie zusammen gemacht haben!

Welch ein Sturzbad! Mir klapperten die Zähne davon. Sie merkte meine Kälte, fragte, ob ich etwa eine andere Liebe habe, wurde empfindlich, als ich die Frage zu überhören schien, sagte endlich, sie müsse fort, und war gänzlich beleidigt, als ich sie nicht zurückhielt. Sie ging, ohne eines Wiedersehens zu erwähnen, und ich ließ sie gehen, ohne auch nur zu fragen, wo sie wohnte.

Ich werde sie schwerlich wiedersehen. Ich beklage es, dass ich sie wiedergesehen habe. Erst heute habe ich Helene ganz verloren, und der Verlust tut mir weh. Es war eine schöne Selbsttäuschung, und ich hätte sie gern bis ans Lebensende bewahrt.

Du hattest Recht, als du sagtest, man solle zu Stätten vergangener Freuden nicht zurückkehren, wenn man nicht sicher sei, sie unverändert zu finden.

Tausend Grüße von deinem wunderlich durcheinandergerüttelten Wolf.

Nachschrift. Soll ich dir meinen ganzen Gedanken sagen? Ich glaube, Helene hat mich mit jemand anders verwechselt...»

I. So

Es war am 1. November 1878. Die Pariser Weltausstellung war geschlossen, und Herr Rudolf Weltli schickte sich an, in seine Heimat, die Schweiz, zurückzukehren, nachdem er schöne sonnige vierzehn Tage an der Seine verlebt hatte. Sich selbst gegenüber hatte er den großen Bazar auf dem Marsfelde zum Vorwande der Reise genommen; in Wirklichkeit aber war ihm das Studium der Ausstellung, so viel des Interessanten sie auch ihm, dem Ingenieur, bieten mochte, etwas durchaus Nebensächliches, und er benutzte seinen Pariser Aufenthalt vornehmlich zu Spaziergängen durch die Straßen, zu Ausflügen in die Umgebung, zu Wanderungen durch die Museen, mit einem Worte zu endlosen Pilgerfahrten nach all den Schauplätzen, auf denen sich mehr als ein Vierteljahrhundert vorher drei Jahre lang sein Pariser Studentenleben abgespielt hatte und deren Bild mit seinen teuersten Jugend-Erinnerungen verwoben war.

Ein Vierteljahrhundert! Fast ein Menschenleben.

Und während dieser langen Zeit hatte er Paris nicht wiedergesehen. Als er es verließ, geschah es mit dem Vorsatze, recht bald und recht oft wiederzukommen. Aber wie das schon so zu gehen pflegt; das Leben widersetzte sich griesgrämig dieser fröhlichen Absicht. Er lag in den Ketten der Pflicht, und nur die Phantasie durfte sich Wanderzüge in die lockende blaue Ferne erlauben.

Wer seine erste Romfahrt macht, der wirft in die Fontana Trevi ein Geldstück, um sicher zu sein, dass er die ewige Stadt noch einmal schauen werde. An Paris braucht man sich nicht durch solche kleine abergläubische Praktiken zu binden. Sein geheimnisvoller Zauber wirkt ohne Vermittelung einer Pfandschaft und lockt und zieht den Abwesenden, dass er nicht ruht, bis er wiederkehrt. Doch weshalb diesen Zauber bloß Paris zuschreiben? Jeder Ort besitzt ihn, wo wir jung gewesen sind, geträumt, geliebt und gelitten haben. Wir fühlen für ihn die Zärtlichkeit, die der Pflüger für den Acker hat, dem er sein Saatkorn anvertraute. Wir haben das Verlangen nachzusehn, ob wir wohl noch Spuren unseres Wandeln antreffen, wo wir unsere Jugend, das beste Teil unseres Selbst, ausgesät haben, Andern unsichtbar, uns aber greifbar wirklich, ein reicher Feldsegen von Erinnerungen aufgegangen ist.

Jedes Jahr plante Rudolf die Pariser Reise, jedes Jahr musste er sie auf das nächste vertragen, und er begann schon sich allmählich in eine schwermütige Resignation hineinzugewöhnen, als die 1870er Weltausstellung den äußeren Anstoß zur Verwirklichung der lang genährten Absicht gab.

Макс Нордау. Как они любят

Это было 1-го ноября 1878 г. Всемирная парижская выставка закрылась, и Рудольф Вельтли, пробыв недели две на берегах Сены, собрался уже ехать назад домой, в Швейцарию. Целью его приезда сюда был великий базар на Марсовом поле, но по прибытии в Париж выставка, которая для него как для инженера должна была быть особенно интересной, не отняла у него слишком много времени. По целым дням он только то и делал, что гулял по улицам, бродил по окрестностям города, посещал музеи, одним словом, беспрестанно путешествовал по всем местам, которые двадцать пять лет тому назад, в течение целых трех лет, были театром его студенческой жизни и с которыми были связаны его самые дорогие воспоминания.

Четверть века – ведь это почти целая жизнь! Так давно он уже не был в Париже. А между тем, покидая тогда этот город, он уехал с намереньем поскорее возвратиться сюда. Но обстоятельства сложились так, что не позволили ему привести в исполнение этот план. Цепи долга задержали его, и только в мечтах он позволил себе возвращаться на минуту под прекрасное голубое небо, столь далекое и столь манящее.

Когда бывают первый раз в Риме, то обыкновенно бросают монету в бассейн Треви, чтобы быть уверенным, что еще раз вернешься в этот вечный город. Но в Париже не нужно прибегать к подобным магическим средствам. Его притягательная сила так велика, что всякий выбывший из него до тех пор не знает покоя, пока не возвратится в него опять. Но зачем приписывать такую магическую силу одному только Парижу? Эта сила разлита повсюду, где мы только провели молодость, любили, мечтали, страдали. К каждому такому уголку мы питаем нежное чувство пахаря к ниве, которой он доверил свой посев, и мы чувствуем потребность увериться, сохранились ли еще в нем следы нашего пребывания, и удивляемся, когда повсюду, где была посеяна наша юность, все наше лучшее, открывается перед нами богатая жатва воспоминаний, невидимая для других, но весьма трогательная для нас самих.

Каждый год Рудольф строил план путешествия в Париж, но всякий раз обстоятельства заставляли его откладывать эту поездку до будущего года. И он начал уже было примиряться со своей участью, как вдруг выставка 1878 г. доставила ему предлог для осуществления его давнишней мечты.

Die Ferienwochen, nach denen sein Sinn so viele Jahre gestanden, waren rasch wie ein Traum verflogen, und es galt, sich wieder das Alltagsjoch der Berufsarbeit aufzuhalten. Der letzte Tag seines Pariser Aufenthalts fiel auf Allerheiligen. Rudolf benutzte ihn mit der großen Mehrzahl der Pariser zum Besuche der Kirchhöfe. Die ersten Nachmittagsstunden verbrachte er auf dem Père Lachaise, wo er neben alten wohlbekanntem Gräbern die seit seiner Pariser Zeit neu hinzugekommenen Denkmäler Mussets, Rossinis, Michelets, Regnaults, der Gräfin d'Agoult und anderer Berühmtheiten mit großem Interesse besichtigte. Vom Père Lachaise fuhr er nach dem Montmartre-Friedhofe, wo er bloß auf Heines Grab einen Immortellenkranz niederlegen wollte. Einmal da, mochte er jedoch nicht weggehen, ohne sich auch hier noch ein wenig umgetan zu haben.

Langsam schlenderte er in den Gräbergassen hin, in denen sich zwischen banalen Steinplatten und unansehnlichen Eisenkreuzen in kurzen Abständen prunkende Denkmäler erheben, die nur selten durch einen auf ihre Stirne geschriebenen stolzen Namen ihre Berechtigung dartun, die Aufmerksamkeit des Wanderers auf sich zu ziehen, während sie in der Regel bloß monumentale Beweise einer über das Grab hinaus reichenden Eitelkeit der armseligen dunklen Menschenkinder sind, deren Asche sie beherbergen.

Die Gräber waren für den großen Festtag der Toten mannigfach geschmückt. Die schmalen Gänge rings um sie waren mit frischem gelben Kies und Fließsand bestreut; blühende Topfgewächse standen auf den Deckplatten und am Fuße der Kreuze; an den Armen der letzteren hingen Gewinde aus Immergrün und gelben oder roten Immortellen, aber auch jene geschmacklosen Kränze aus bemaltem Gyps und aus Glasperlen mit affektierten Inschriften, welche die Pariser Industrie entehren. Neben diesen Grabstätten, an denen das Walten einer zärtlichen Hand zu merken war und deren Tote sichtlich noch durch Fasern der Liebe mit einem im Sonnenlicht atmenden warmen Menschenwesen zusammenhingen, waren auch die verfallenen und verwaarlosten Gräber nicht selten, auf denen nur einige regenverwaschene morsche Blätter alter Papierkränze moderten, welche Moos und Unkraut überwucherte und in denen Verschollene ruhten, um die niemand mehr trauert und deren sich in der Welt der Lebenden niemand mehr erinnert. Wie bald ist man aber in Paris vergessen!

Wie bald hat der Ozean der Weltstadt nicht bloß einen Menschen, sondern auch seine Familie, alle seine Freunde und Bekannten und selbst

Столь долго желанные короткие недели отпуска пролетели быстро, как сновиденье, и вот настал, наконец, последний день его пребывания в Париже. Подобно большинству парижан, он решил его посвятить посещению кладбищ. Первые послеобеденные часы он провел на кладбище Pere Lachaise, где возле знакомых ему еще со студенческих дней могил он открыл новые могилы Мюссе, Россини, Мишле и многих других знаменитостей. Обозрев их с живым интересом, он отправился затем на Монмартрское кладбище, чтобы положить здесь венок из иммортелей на могилу Гейне. Но, прибыв сюда, он не мог уйти, не сделав более подробного осмотра. Он медленно бродил по аллеям, где между могильными плитами и простыми железными крестами, то там, то здесь, на небольшом расстоянии друг от друга, виднелись пышные памятники с вырезанными на фронтоне громкими именами; многие могилы в этот день, посвященный умершим, были украшены заботливой рукой живущих. Дорожки желтели от свеженасыпанного песка, а вокруг могильных плит и крестов, на которых красовались венки из живых и искусственных цветов, виднелись горшки с цветами. Но рядом с такими могилами виднелось и великое множество совсем заброшенных и забытых, в которых поживали неизвестные покойники, которых никто не оплакивал уже больше на земле и никто не помнил. Как быстро океан столицы поглощает не только одного человека, но и его семью, друзей, знакомых и даже воспоминание о нем. Рудольф почувствовал, как при этих мрачных могилах неприятная дрожь пробежала у него по спине.

Следуя бесцельно за увлекавшим его потоком толпы, он вдруг очутился у могилы, вокруг которой особенно теснилась публика, состоявшая большею частью из рабочих и их жен. Вновь подходившие просовывали головы за плечи стоявших впереди и с нетерпением старались оттеснить их, но те, под впечатлением приковывающего к себе памятника, казалось, приросли к земле, — до того неподвижно стояли они. Между тем во всей этой группе людей чувствовалось что-то торжественное, молитвенное, что не часто удастся заметить даже в церкви в толпе верующих. Охваченный любопытством, Рудольф пробился вперед и внезапно очутился перед могилою республиканца Бодана, этого народного представителя, который 3 декабря 1851 г. был расстрелян пьяными солдатами на улице, в момент, когда он, подпоясанный трехцветным шарфом,

sein Andenken verschlungen! Es rieselte Rudolf kühl den Rücken hinab, als er sich in diese schwermütige Vorstellung vertiefte, in Paris als Fremder zu leben und als Fremder zu sterben.

Wie er ziellos mit dem dahinflutenden Menschenstrom trieb, fand er sich mit einemmal in einem engen Seitenwege vor einem Grabmal, welches ein besonders dichtes Gedränge umgab. Mehrere Reihen Menschen, meist Arbeiter und ihre Frauen, standen um dasselbe, die Hintermänner schoben ihre Köpfe über die Schultern der vorderen, die neuen Ankömmlinge pressten mit einiger Ungeduld auf die, welche vor ihnen den Platz eingenommen hatten und nun, wie von einem packenden Schauspiel festgehalten, unbeweglich wurzelten und keine Miene machten, weiterzugehen. In der ganzen stockenden Gruppe aber waltete eine Sammlung, ein feierlicher Ernst, wie man ihn bei Gläubigen in der Kirche nicht oft findet. Neugierig drängte sich Rudolf bis in den vordersten Rang des lebendigen Walles durch und stand plötzlich – vor dem Grabdenkmale Baudins, jenes republikanischen Volksvertreters, der am 3. Dezember 1851 in den Straßen von Paris von betrunkenen Soldaten niedergeschossen wurde, als er, umgürtet mit der dreifarbigem Schärpe, welche ihn als Mitglied der Gesetzgebung kenntlich machte, von der Höhe einer Barrikade gegen den Staatsstreich Bonapartes protestierte. An den Tod dieses Helden knüpft sich eine bekannte Anekdote. Wie er, umgeben von wenigen Gleichgesinnten, sich anschickte, die Barrikade zu ersteigen, riefen ihm einige vorübergehende Arbeiter höhnisch zu: «Da geht ein Fünfundzwanzigfranken-Mann!» Das war das Schimpfwort, womit die gegen die Nationalversammlung systematisch aufgehetzten Proletarier die Volksvertreter, auf ihr Taggeld anspielend, bezeichneten. Baudin antwortete gelassen: „Ihr werdet gleich sehen, wie man um fünfundzwanzig Franken stirbt!“ und fiel einen Augenblick später unter den Kugeln der Soldateska.

Rudolf fühlte beim Anblick des Denkmals die Erschütterung, die es in jedem Beschauer hervorbringt. Auf einem rechteckigen steinernen Unterbau liegt die lebensgroße bronzene Gestalt Baudins ausgestreckt, bis zur Brust in einen Mantel drapiert, die linke Hand todesschlaff herabhängend, während die rechte eine symbolische Gesetztafel mit der Inschrift «La Loi», durch welche ein verbrecherischer Riss geht, krampfhaft umgreift. Der Kopf Baudins ist der eines Mannes in mittleren Jahren mit unauffälligen Zügen, glattrasierten Lippen, und Kinn und alltäglichem Backenbart. Aber dieses gewöhnliche Gesicht wird groß und heroisch durch ein entsetzliches Loch in der Stirne, aus dem Blut und Hirn gequoll-

с высоты баррикады протестовал против переворота, произведенного Бонапартом.

Взглянув на величественный памятник, Рудольф испытал впечатление, которое тот производит на всякого зрителя. Бронзовая статуя Бодана лежит на каменном пьедестале, до половины задрапированная знаменем. Левая рука повисла неподвижно, правая же судорожно схватывает символическую доску закона, расколотую злодейской рукой. Лицо человека средних лет не представляет ничего выдающегося; усы и подбородок – бритые, баки – обыкновенные. Но эта ординарная фигура кажется великой и героической, благодаря ужасной дыре на лбу, из которой сочится кровь и мозг. О, как такая дыра от пули, убивающей свободу, изменяет лицо человека! Кажется, как будто из этого трагического отверстия исходит сверхъестественный свет, на который нельзя глядеть без слез.

Перед этим поражающим памятником Рудольф испытал гораздо более сильное волнение, чем всякий другой из окружающих, потому что он вспомнил, сколь малого когда-то не хватило, чтобы и его постигла та же участь, что и этого человека, к памятнику которого его привел случай. И направившись к выходу с кладбища, он вдруг увидел себя в мыслях, в эти страшные ночи 3 и 4 декабря, купающимся в собственной крови, без чувств, на сыром тротуаре Монмартрской улицы, с пулею в правом бедре. Воспоминание было настолько живое, что он как будто снова почувствовал боль от раны и невольно начал прихрамывать. В широкой аллее, ведущей к выходу, он увидел новые памятники, которые еще более усилили интенсивность воспоминаний, вызванных памятником Бодана.

В одном месте он заметил могилу Кавеньяка, потом дальше большую общую могилу, в которой была погребена кровавая груда безымянных жертв уличных баталий. Этот кровавый угол был окружен гирляндами из цветов; посредине, на возвышении, стоял простой железный крест. Рудольф вошел в этот грустный круг и подошел к самому кресту. Странное ощущение овладело им. Ему казалось, что он находится в магическом круге, который отделил его от мира и жизни. Даже самый воздух в этом месте показался ему более холодным, чем в других углах кладбища, и ему чудилось, что под ногами, в земле, он слышит какое-то движение или сотрясение, как будто мертвые своими костлявыми пальцами царапали прикрывавшую их плиту.

len sind. O, wie ein solches Loch in der Stirne, gebrochen von einer freihheitmordenden Kugel, ein Mannesantlitz verklärt! Es scheint aus dieser tragischen Öffnung ein überirdisches Licht hervorzustrahlen, in das man nicht blicken kann, ohne dass die Augen übergehen.

Rudolf war durch unsagbar pathetische Denkmal mehr gerührt als alle anderen, die es andächtig umstanden. Denn ihm fiel ein, wie wenig gefehlt hatte, dass auch ihm ein solches Schicksal bereitet wurde wie dem Blutzengen, vor dessen Bild er unvermutet geraten war. Und indem er den Weg nach dem Ausgange des Kirchhofs einschlug, sah er sich wieder in der Schreckensnacht vom dritten auf den vierten Dezember 1851 in seinem Blute schwimmend und mit schwindenden Sinnen auf dem nassen Pflaster der Rue Montmartre liegen, eine Kugel in der rechten Hüfte. Die Erinnerung an jenen Augenblick wurde so lebhaft in ihm, dass er aufs neue den Schmerz in der Hüfte zu empfinden glaubte und zu hinken begann, wie er es monatelang nach der Verwundung getan hatte. In der breiten Avenue, die zum Haupteingange führt, traten ihm neue Bilder entgegen, welche das durch Baudins Grab vor seine Seele heraufbeschworene Andenken des Staatsstreichs noch intensiver machten. Zur Seite sah er das Denkmal Gottfried Cavaignacs, in der Mitte das Große gemeinsame Grab, in das alle namenlosen Opfer der Straßenkämpfe in grausigem Durcheinander geworfen wurden. Dieses blutige Stück Erde über einer flachen, mit Steinplatten bedeckten Bodenerhöhung

Ein einfaches eisernes Kreuz aufragt. Rudolf trat in unheimlichen Kreis und blieb bei dem Kreuze stehen. Ganz eigentümliche Empfindungen beschlichen ihn. Es war ihm, als stände er innerhalb einer kabbalistischen Linie, die ihn von Welt und Leben trennte. Die Luft schien ihm innerhalb des Zauberkreises eisiger zu wehen als draußen. Er glaubte ein Wühlen und Beben in der Erde unter seinen Sohlen zu fühlen, als regten sich die Toten da unten und scharrtten mit den Knochenfingern an der Decke ihres engen Gelasses.

«Da läge ich heute mit den übrigen, wenn mich die Kugel damals nur ein wenig anders getroffen hätte!» dachte er und atmete tief auf. Er sah sich um. Am Fuße des Kreuzes war ein ganzer Stoß von Kränzen und Sträußen aufgehäuft, und mehrere Frauen knieten auf den Steinplatten und murmelten lautlose Gebete. Und es giebt noch nach siebenundzwanzig Jahren Leidtragende, welche sich dieser Toten erinnern? Um meinet willen wäre doch niemand gekommen, wenn sie mich auch da hinein geworfen hätten». Er stand neben einer der knienden Frauen, die er voll Teil-

– И я был бы теперь здесь вместе с ними, если б пуля тогда вернее угодила в меня. Он глубоко вздохнул и повернулся. У подножья креста лежала целая группа букетов. Женщины, собравшиеся здесь в довольно значительном числе, на коленях тихо шептали молитвы.

– А! И по прошествии двадцати семи лет находятся люди, которые помнят этих покойников. Но никто не пришел бы сюда ради меня, если б я лежал здесь.

Он стоял возле какой-то коленапоклоненной женщины, и его глаза невольно с состраданием остановились на ней.

Она была в трауре и казалась совершенно погруженной в молитву. Густая черная вуаль закрывала ее лицо. Но почувствовав на себе непривычный взгляд, она машинально подняла голову. Глаза их встретились. Из ее уст вырвался подавленный крик, как будто кто-то душил ее, и она со страшным волнением подалась назад. Бессознательно протянув к нему руки, почти без чувств, она прошептала полбледневшими устами: Рудольф! Рудольф!

При первом ее крике он невольно, от неожиданности, сделал шаг назад, но затем поддержал готовую упасть женщину и, притянув ее к себе на грудь, чуть внятно вымолвил:

– Паулина! Возможно ли! Паулина!

Она выпрямилась, пытаясь положить свои руки на его плечи, широко открытыми глазами глядела на него.

– Ты, Рудольф? Ты жив?

– А ты думала, что я умер? – спросил он нерешительно, опуская голову.

– Я думала, что ты погребен здесь, ответила она, пальцем показывая на могильную плиту.

– И ты пришла сегодня ...

– Ради тебя, Рудольф, сегодня, как и каждый год в этот день, в продолжение двадцати семи лет. Смотри, Рудольф, этот веночек я принесла для тебя. И когда я увидела тебя перед собой, мне показалось, что ты встал из этой могилы, чтобы еще раз увидеть меня.

Она на несколько мгновений замолчала, не сводя с него ласкающего взгляда.

– А знаешь, что меня убедило, что ты не призрак? Это то, что ты вовсе не такой, каким ты был тогда, когда тебя похоронили бы здесь, если б ты был убит. Мертвые не переменяются. Но ты, мой бедный Рудольф, ты очень изменился.

nahme ins Auge fasste. Sie war in Schwarz gekleidet, von ihrem Kopfe hing ein langer schwarzer Schleier herab, und sie schien ganz in ihre Inbrunst versunken. Als sie einen unverwandten Blick auf sich ruhen fühlte, schaute sie unwillkürlich auf. Ihre Augen begegneten sich. Sie sank zurück und stieß einen erstickten Schrei aus, der sich wie aus einer jäh zusammengepressten Kehle hervorrang. Unbewusst streckte sie ihm Arme entgegen, und während sich ihre Augen halb schlossen und ihr die Sinne zu schwinden schienen, flüsterten ihre erbleichenden Lippen: «Rudolf! Rudolf!»

Er war beim ersten Schrei erstaunt und verwirrt einen Schritt zurückgetreten, jetzt fing er die mit einer Ohnmacht kämpfende in seinen Armen auf, zog sie an seine Brust und murmelte tonlos: «Pauline! Ist es möglich! Pauline!»

Sie richtete sich taumelnd an ihm empor, ihre Knie bebten, sie legte beide Hände auf seine Schultern, und während sie ihn mit zurückgeworfenen Kopf und weit geöffneten Augen unverwandt ansah, sprach sie: «Du bist es wirklich! Du bist es, Rudolf! Du lebst!»

«Du hast mich also für tot gehalten?» fragte er mit unsicherer Stimme und senkte den Kopf.

«Ich glaubte dich da unten», erwiderte sie und wies mit dem Finger auf die Steinplatten zu ihren Füßen.

«Und du bist heute gekommen...»

«Zu dir, Rudolf; heute wie alljährlich seit siebenundzwanzig Jahren. Siehst du, Rudolf, das ist der Kranz, den ich für dich niederlegte. Und als ich dich plötzlich vor mir sah», fügte sie nach einer kleinen Pause ganz leise hinzu, «glaubte ich, du seist aus diesem Grabe heraufgestiegen, um mich nochmal zu sehen».

Sie schwieg wieder eine kleine Weile, während ihre Blicke ihn fortwährend zaghaft liebkosten. «Und weißt du, was mich gleich darüber beruhigte, dass ich keinen Geist vor mir sehe? Dass du nicht mehr so aussehst wie damals, als man dich da hineingelegt hätte, wenn du wirklich gestorben wärst. Tote altern nicht. Du aber, mein armer Rudolf, hast dich doch verändert?»

«So findest du mich sehr verändert?»

Sie sah ihn lange an. Ihr Auge wanderte langsam über seine Gestalt, seine Züge, seine ganze Erscheinung, dann sprach sie wie vor sich hin: «Eigentlich doch nicht, Rudolf, eigentlich doch nicht gar so sehr».

Sie war wohl das einzige Wesen auf Erden, das so sprechen konnte; sie war die einzige, die in seinem Antlitz das Gesicht des 23jährigen Jünglings erblickte, wie ein geübtes Auge unter einem Palimpsest die

– А! Ты находишь во мне перемену!

Она поглядела на него долгим взглядом. Глаза ее скользнули по его лицу, талии, вообще по всей его фигуре и, наконец, она прошептала как бы про себя.

– Нет, небольшую, совсем небольшую.

Одна только она в целом мире могла сказать эти слова, одна только она нашла в нем черты молодого человека, подобно тому, как опытный глаз разбирает в стертой рукописи уже почти сделавшиеся невидимыми слова. Для нее у него были все те же густые черные волосы вместо теперешних редких и уже седеющих; его теперешние жесткие усы оставались по-прежнему все еще мягкими; пожелтевшее лицо все еще не потеряло юношеской свежести. Она видела в стоявшем перед ней пятидесятилетнем мужчине его прежний образ, который сохранился в ее памяти и сделался еще более прекрасным.

Он испытывал точно такую же иллюзию. Ее расплывшиеся черты и контуры щек, шеи, подбородка, груди как будто приняли прежние грациозные очертания, которые он так любил; глаза, потускневшие от горя, загорелись прежним веселым огоньком молодости, и в женщине, уже постаревшей, он по-прежнему восхищался теперь очаровательной свежестью девятнадцатилетней девушки.

Разглядывая его, она совсем оправилась от смущения, и голос ее дрожал совсем уже почти незаметно, когда она спросила.

– Но расскажи же мне, ради Бога, как это все произошло. Наш консьерж видел, как ты упал на улице и тебя унесли.

– Он сказал правду.

– Значит, ты не был расстрелян?

– Нет, только ранен.

– А ... А потом ...

– Ты помнишь, как я с тобой расстался. Я вышел, словно сумасшедший, без шапки, вне себя. Монмартрская улица была совсем пустынной, вдали слышалась барабанная дробь – это шли с бульваров солдаты ...

Несколько человек бегом обогнали меня, ища укрытия в боковых улицах. Я не успел еще дать себе отчет в том, что происходило вокруг меня, как вдруг раздались выстрелы, и я почувствовал острую боль в бедре и упал. В нескольких шагах от меня упал еще кто-то с тем, чтобы больше не встать. Между тем солдаты с фонарями и фа-

verwischten, fast unsichtbar gewordenen ursprünglichen Schriftzüge errät. Für sie wogte an Stelle des kurzgehaltenen, spärlichen, ergrauten Haupthaars noch immer die ehemalige Fülle brauner Locken; sie sah den buschig gewordenen Schnurrbart fein und gekräuselt, die welke Haut frisch und glatt, die etwas feiste Gestalt schlank und schmiegsam; sie trug auf den vor ihr stehenden Fünzfziger Zug um Zug das Bild auf, dass in ihrer treuen Erinnerung lebte, verklärt und schöner, als es einst die Wirklichkeit gewesen. Und ihm ging es mit ihr nichts anders. Seine Phantasie verwischte die feinen Fältchen, die sich ihr um Augen und Mund Zogen, gab ihrem verschleierte schwarzen Auge den Glanz und Mutwillen der Jugend, entwickelte aus den etwas fleischig gewordenen Umrissen die anmutigen Linien der Wangen, des Kinns, des Halses, der Büste, die er einst gefunden und geliebt, erkannte die rabenschwarzen Flechten wieder, die allein nichts von ihrer Schönheit eingeüßt hatten, und sah in dem verblühten Weibe das von allem Zauber seiner 19 Jahre umstrahlte frische Mädchen, das er vor 27 Jahren verlassen hatte.

Ihre erste Aufregung hatte sich in der minutenlangen schweigenden Betrachtung ein wenig gelegt; ihre Stimme gewann ihren natürlichen Klang wieder und bebte nur noch ganz unmerklich, als sie ihn fragte: «Aber nun erzähle doch um Gotteswillen, wie alles gekommen ist? Unser Concierge hat dich doch in der Straße fallen und wegtragen gesehen».

«Er hat richtig gesehen».

«Du warst also nicht erschossen?»

«Bloß verwundet».

«Nun, und?»

«Du weißt, wie ich von dir ging. Ich war erregt, barhaupt, unsinnig. Als ich aus dem Passage Saumon in die Rue Montmartre heraustrat, fand ich die Straße menschenleer. In der Ferne hörte ich Trommelwirbel. Vom Boulevard her schienen Soldaten vorzudringen. An mir liefen einige Leute vorbei, die sich in die Nebenstraßen zu retten suchten. Ehe ich mir von dem, was um mich vorging, klare Rechenschaft geben konnte, krachte eine Salve, ich fühlte einen heftigen Stoß und fiel hin. Wenige Schritte von mir fiel ein anderer, der sich nicht mehr rührte. Ein Fenster im Passage Saumon öffnete sich ein wenig und schloss sich gleich wieder. Die Soldaten kamen heran. Sie trugen einige Laternen und Fackeln. Zuerst stießen sie auf den andern. Man leuchtete ihm ins Gesicht, einige Stimmen erhoben sich, und ich sah, wie man ihm Bajonnete in den Leib stach. Dann kamen sie zu mir. Schon blitzten auch über mir Bajonette, ich

келами были уже совсем близко. Они бросились сперва к тому другому раненому. Огни приблизились к его лицу. Затем раздались крики, и я увидел, как в него вонзилось несколько штыков. Потом они подошли ко мне. Я невольно протянул руки, чтобы защитить свою грудь от направленных в нее штыков, как вдруг офицер скомандовал: «Стой!» Он спросил – кто я. Быстро, насколько это позволял мне смертельный страх, я объяснил ему, что я швейцарец, что я воспитанник Ecole centrale, живу в Пассаже Сомона, на улицу вышел случайно и здесь же ранен. Офицер посмотрел на мои руки. На них, конечно, не было и следа пороха. Потом он осмотрел место, где я упал – возле меня не было никакого оружия.

– А где же ваша шляпа? – Спросил офицер.

– На мне ее не было, когда я вышел.

– Это подозрительно, – сказал он.

Подумав минуту, он велел положить меня в стоявшую неподалеку и покинутую каким-то торговцем телегу и препроводил в госпиталь.

Он замолчал. А она все глядела на него глазами, полными слез.

– О, если б я могла передать тебе все, что я перенесла в эту ночь. Едва ты вышел, как вдруг вбежал консьерж с криком «m-lle Паулина, m-lle Паулина, месье Рудольфа расстреляли и увезли». Я хотела выбежать на улицу, но он меня задержал, хотела выброситься в окно, но он мне помешал. Я должна была ждать рассвета и чуть свет побежала в морг, потом на кладбище, побывала повсюду, где только были трупы. Я их видела много, очень много, но тебя не нашла.

Когда она говорила это, губы ее совсем побелели, глаза впали. Он притянул ее к себе, и она бессознательно склонила голову на плечо своего прежнего милого.

– Я была убеждена, что ты умер, – продолжала она, – и что тебя бросили в эту общую могилу. Кого я только ни спрашивала, все это мне говорили. А от тебя между тем не было никаких известий. Почему это ты молчал? Ты не мог? Ты был без сознания?..

– И то, и другое, дитя мое. Несколько дней я был так болен, что не мог собрать мыслей. А когда мне сделалось лучше, за мной учредили строгий надзор, потому что меня все-таки подозревали в том, что я сражался на баррикадах, так что должен был обратиться к своему консулу, чтобы он дал сведения о моей личности и поручился за меня.

streckte instinktiv die Hände zur Abwehr entgegen, da rief ein Offizier: Halt! trat an mich heran und fragte, wer ich sei. Ich sagte so rasch als ich in meiner Todesangst konnte, ich sei Schweizer, Zögling der Ecole Centrale, wohne im Passage Saumon, sei zufällig auf die Straße getreten und durch einen Schuss verwundet worden. Der Offizier sah meine Hände an, sie waren nicht von Pulver geschwärzt. Man leuchtete rings herum: ich lag in meinem Blut, aber in der Nähe war keine Waffe. Wo ist ihr Hut? Fragte der Offizier. Ich hatte keinen auf, als ich meine Wohnung verließ. Das ist verdächtig, sagte er zu meinem Schrecken, gab aber nach einer Minute des Nachdenkens, die mir eine Ewigkeit schien, den Befehl, mich auf einen in der Nähe stehenden verlassenen Karren eines Gemüsehändlers zu legen und in ein Spital zu führen. Vier Soldaten warfen mich roh auf den Karren und schlepten mich nach dem Hotel Dieu».

Er hielt in seiner Erzählung inne.

Sie sah ihn an, und ihre Augen füllten sich mit Tränen. «Wenn ich dir sagen könnte, wie mir in jener Nacht war! Kaum warst du fort, da stürzte der Concierge ins Zimmer und keuchte: Fräulein Pauline! Fräulein Pauline! Soeben haben sie unten Herrn Rudolf niedergeschossen und weggeführt. Ich wollte hinunterfliegen, er verhinderte mich gewaltsam daran. Ich wollte mich zum Fenster hinausstürzen, er ließ es nicht zu. Ich musste bis zum Morgen warten. Dann lief ich in die Morgue, auf die Friedhöfe, überallhin, wo Leichen ausgestellt waren; ich sah ihrer viele, o entsetzlich viele, aber dich fand ich nicht».

Sie war bleich geworden bis in die Lippen, während sie sprach, und ihre Augen blickten leer. Er zog sie an sich, und sie ließ unbewusst ihren Kopf auf seine Schulter sinken. «Ich war indes überzeugt, dass du tot seist», fuhr sie fort, „und dass man dich in dieses Massengrab geworfen habe. Alle Leute sagten es mir, die ich fragte. Und du liebst ja nichts von dir hören! Warum nicht, wenn du doch im Hotel Dieu warst? Durftest du denn nicht? Warst du denn bewusstlos?

«Beides, mein armes Kind. Ich war mehrere Tage lang so krank, dass ich keinen klaren Gedanken fassen konnte. Als mir besser wurde, stellte man mich unter strenge Aufsicht, denn ich war verdächtig, auf den Barrikaden gekämpft zu haben. Ich musste mich zunächst mit meiner Gesandtschaft in Verbindung setzen, damit sie über mich Auskunft erteile und für mich bürgen...»

«Wenn du aber mit deiner Gesandtschaft verkehren konntest, so konntest du es doch auch mit mir...»

– Но если ты имел возможность снестись с консулом, то мог также известить и меня ...

Он ничего не ответил.

– А потом ты вышел на свободу, – продолжала она все настойчивее, – и в продолжении многих, многих лет ты даже не обеспокоился обо мне ...

Он в замешательстве опустил голову, чтобы избежать ее взгляда. Правду он не мог ей сказать, по крайней мере, здесь, в эту минуту. Она была права: он не писал ей и не пожелал возвратиться к ней. Почему? Стыд и угрызения совести напали на него теперь, когда он об этом подумал. Почему? ... А очень просто, потому что он рад был покинуть Париж, не повидавшись с Паулиной.

Это была старая, но вечно новая история. Молодая девушка охотно бросается в объятия юноши, которые искренне заключают ее. При благоприятных обстоятельствах такая беззаботная и веселая любовь длится год, другой, пока не наступит момент окончания курса и вместе с тем наступления новой серьезной жизни. Прощай тогда, счастливая, несоответственная любовь! Прощай, теплое голубиное гнездышко в маленькой комнатке, полной света юности и розовых надежд! Обыкновенно расстаются не с большим горем. Он холоден, она рассудительна. Пообедав последний раз вместе, пьют шампанское, весело желают друг другу счастья и затем расходятся. Бывает и так, что он и она сентиментальны. Тогда немного повздыхают, немного поплачут и обещаются друг другу писать. Переписка длится несколько дней, иной раз и несколько недель, пока сердечная рана, которая никогда не бывает особенно глубокой, не залечится.

Но часто, о, часто!..

История Рудольфа была из таких. Когда настало время уезжать из Парижа, Рудольф с ужасом увидел, что узы, связывающие его с Паулиной, более крепки, чем он думал. Два года она делила с ним свою маленькую комнатку в пассаже Сомона, и в продолжение этих двух лет он ни разу не почувствовал скуки с ней. Поцелуй и улыбка каждое утро, перед уходом в мастерскую, объятия, улыбка каждый вечер, когда она возвращалась назад. Когда он работал, она тихо садилась в угол и оттуда глядела на него; когда он веселился, она ласкалась к нему, как собачонка. Если он брал ее в театр, она в благодарность целовала ему руку; если он выходил один, она хотя и беспокоилась, но никогда ничего не говорила ему, ни о чем не

Er antwortete nichts.

«Und dann wurdest du ja geheilt», fuhr sie dringlicher fort, «und in den langen, langen Jahren ist es dir nie eingefallen, dich um mich zu kümmern?»

Er ließ den Kopf verwirrt hängen und wich ihrem tief schmerzlich auf ihn gehefteten Blick aus. Die Wahrheit konnte er ihr doch nicht sagen, nicht jetzt, nicht hier. Warum er ihr nicht geschrieben, warum er nicht in seine Wohnung zurückgekehrt war, als er das Spital verließ? Scham und Reue erfasste ihn, als er jetzt daran dachte: ganz einfach darum nicht, weil er froh war, Paris verlassen zu können, ohne Pauline wiederzusehen.

Es war eben die alte Geschichte, die ewig neu bleibt. Man ist ein junger Student in Paris, man lernt eine junge hübsche alleinstehende Arbeiterin kennen, man gefällt einander, das Mädchen wirft sich gern dem jungen Menschen in die Arme, und diese Arme schließen sich gern um das sich innig anschmiegende junge Geschöpf. Unter günstigen Bedingungen dauert dieses sorglose, fröhliche Verhältnis ein Jahr, zwei Jahre, dann kommt der Augenblick, wo der Student seine Studien beendet hat und der Ernst des Lebens ihn fordert. Ade, das vergnügte Liebeleben ohne Sorge um Zukunft und ohne Verantwortlichkeit! Ade, das taubengleiche Nisten zu Zweien in einer Mietstube, die das Morgenrot der Jugend und Hoffnung erfüllt. In der Regel geht ja die Trennung ohne Ungemach vor sich. Er ist kühl, und sie ist vernünftig. Dann diniert man zum letztenmal auf dem Lande, trinkt Champagner dazu und geht mit fröhlichem Glückwunsch für das fernere Gedeihen auseinander. Oder sie sind beide sentimental. Dann weint man ein wenig und seufzt ein wenig und verspricht sich zu schreiben und tut es wohl auch eine Weile, und es dauert Tage, vielleicht gar Wochen, bis die glücklicherweise nicht sehr tiefe Herzenswunde verharscht ist.

Aber manchmal, o manchmal –

Nun, Rudolfs Fall war eben einer von diesen. Als es hieß, Paris verlassen, sein Berufsleben beginnen, da erkannte er mit Schrecken, dass die Bande, die ihn an Pauline knüpften, weit fester waren, als er je gedacht. Zwei Jahre lang hatte sie sein Zimmer im Passage Saumon mit ihm geteilt. In diesen zwei Jahren hatte sie ihn keine Sekunde lang betrübt, hatte sie stets nur daran gedacht, ihn zufrieden und glücklich zu sehen. Mit einem Kusse und Lächeln ging sie morgens in ihr Atelier, mit einer Umarmung und einem Lächeln kam sie abends nach Hause. Arbeitete er, so saß sie still in ihrer Ecke und blickte zu ihm hinüber; wollte er fröhlich sein, so war sie lustig wie ein junger Pudel. Führte er sie ins Theater, so küsste sie ihm die Hand dafür. Ging er allein aus, so war sie betrübt, aber sie sagte nichts und fragte nichts, und das rührte ihn so, dass er allmählich

спрашивала, и это так тронуло его, что он понемногу оставил привычку выходить одному и под конец выходил только с нею. Если он хотел что-нибудь подарить ей, она долго не решалась принять подарков и едва позволяла ему принимать участие в ее расходах на туалет. В продолжение двух лет он ни разу не видел ее раздраженной или капризной. И такую нежную привязанность он хотел, он должен был оборвать! Да, он был должен. Ведь не мог же он сделать глупость – жениться на ней! В 23 года и при том на девушке, случайно встреченной на улице Монмартра. Когда же он объявил ей, что настала пора кончить их любовь, то с ужасом и удивлением увидел, что она побледнела как смерть и лишилась даже голоса. Придя в себя и разразившись, наконец, рыданиями, она бросилась ему на шею, покрыла его лицо жгучими поцелуями и омочила слезами.

Нет, нет! Не покидай меня! Я не могу! ... Лучше умереть! ... Напрасно он старался образумить ее. Но она ничего не хотела понять.

– Чем ты можешь упрекнуть меня?

Этот вопрос ставил его в тупик, так как единственно, чем он мог упрекнуть ее, это было только то, что она была его любовницей, но сделать этот упрек он не имел ни малейшего права. Она была бедна, но ему было стыдно сказать ей это; она была необразованная, но свою необразованность она вполне выкупила природным умом, рассудком и врожденным тактом. Она требовала мотивов, а он мог только сказать: но, дитя мое, ты должна понять, что мы должны расстаться.

А этого она уже никак не могла понять и потому плакала, повторяя с отчаянием:

– Рудольф! Рудольф! Не покидай меня! Ты видишь, – я люблю тебя. Я ничего не хочу от тебя, кроме тебя самого. Никто не будет больше любить тебя, чем я!..

Так проходили день за днем; неприятные сцены вечно возобновлялись, но у Рудольфа не хватало смелости положить конец. Когда слезы Паулины становились для него невыносимыми, он уходил из дому и несколько часов бродил по улицам, мрачный и злой. То же случилось в памятную ночь на 3 декабря и ...

Потому-то он ничего и не писал ей и не хотел возвратиться к ней. Пуля из солдатского ружья показалась ему спасительным вмешательством судьбы, которая пожелала освободить его от мучений. Выйдя на свободу, он буквально убежал из Парижа, не захватив

die Gewohnheit aufgab, allein auszugehen. Schenkte er ihr etwas, so sträubte sie sich, es anzunehmen; kaum das sie ihm gestattete, zu ihrer Toilette etwas beizutragen. In zwei Jahren hatte er sie nie nervös, nie übellaunig gesehen. Und diese treue Hingebung, sollte er, musste er von sich stoßen. Jawohl, er musste es! Denn er konnte doch nicht so verrückt sein, sie zu heiraten. Mit dreiundzwanzig Jahren! Ein junger Ingenieur mit glänzender Zukunft! Ein Mädchen, das man auf dem Trottoir der Rue Montmartre aufgelesen hat. Das ist ein so einfältiger Gedanke, dass es nicht der Mühe wert ist, auch nur einen Augenblick lang dabei zu verweilen. Als er ihr dann mitteilte, dass die Herrlichkeit nun ein Ende habe, da sah er mit Staunen und Schrecken, wie sie totenblaß wurde und lautlos hinfiel. Wieder zu sich gekommen, brach sie in endlosen Schluchzen aus und klammerte sich an seinen Hals und bedeckte ihn mit brennenden Küssen und Tränen und rief: «Nein nein, du lässt mich nicht; ich kann nicht, ich kann nicht; lieber sterben». Vergebens suchte er ihr Vernunft beizubringen. Sie wollte nichts hören. «Was hast du mir vorzuwerfen?» Die Frage musste ihn verlegen machen, denn er hatte nichts vorzuwerfen, als dass sie seine Maitresse gewesen, ein Vorwurf, den unter allen Menschen auf Erden er allein ihr nicht machen durfte; und dass sie arm war, was er sich aber auszusprechen schämte; und dass sie ungebildet war, was auch keine ernste Beschwerde sein konnte, denn sie machte ihre Unwissenschaft durch natürlichen Witz und Verstand und durch angeborene Distinktion wett. Sie wollte Gründe – und er konnte keinen andern bieten als den: «Aber liebes Kind, du wirst noch einsehen, dass wir uns jetzt trennen müssen». Das war es ja aber gerade, was sie durchaus nicht einsehen konnte, und sie weinte immer und sagte trostlos: «Rudolf, Rudolf, verlass mich nicht. Sieh, ich liebe dich, und das ist doch auch etwas. Ich will ja nichts von dir, als dass du mich immer bei dir duldest. So wie ich wird dich doch nie wieder jemand lieben». Viele Tage wiederholten sich diese unsagbar peinlichen Szenen, denen ein heroisches Ende zu machen Rudolf nicht den Mut hatte. Wenn ihm die Tränen Paulines unerträglich wurden, so ging er davon und irrte stundenlang in den Straßen umher, ratlos, verstimmt, gequält. Auch an jenem dritten Dezember war es so gekommen und...

Das war es, weshalb er ihr nicht geschrieben hatte und nicht wieder in seine Wohnung zurückgekehrt war. Die Soldatenkugel schien ihm eine gnädige Dazwischenkunft des Schicksals, die ihn aus seinen Verlegenheiten befreite. Wiederhergestellt, floh er förmlich aus Paris mit Hinterlas-

даже с собою своего маленького студенческого багажа. И совесть в это время ничего не говорила ему. Он старался тогда убедить себя, что он ничем не обязан Паулине, что она вовсе не нуждается в нем, и что она с ее прекрасным характером и без него пробьет себе дорогу. Впрочем, эти рассуждения не могли заглушить внутренний голос, который порой шептал ему: «Подлец! Подлец».

Ему не нужно было говорить обо всем этом ей теперь: она все разгадала и с грустной улыбкой заметила ему:

– Я понимаю, мой бедный Рудольф, я понимаю. Ты рад был покинуть надоевшую тебе Паулину, и пуля избавила тебя от труда дать лично мне отставку.

Она могла бы сказать больше, но удержалась. Она никогда не делала ему упреков, так зачем надо было их делать теперь, на этом месте, где в продолжение многих лет она считала его погребенным.

Он взял ее руку и горячо пожал ее. Чтобы дать другой оборот этому неприятному разговору, он спросил ее.

– Что же ты делаешь теперь, Паулина? Как живешь?

– Живу хорошо. Я много работала и добилась независимости. Теперь у меня 8 или 10 работниц, и я почти богата.

Она прочла в его глазах другой вопрос и произнесла:

– Я осталась верной тебе, Рудольф. У меня не было недостатка в поклонниках, ты сам это знаешь, но я всем отказывала. Мне было бы стыдно. Я желала сохранить в сердце память только о тебе одном. Тебя это удивляет? Ты не веришь? В самом деле, это почти неправдоподобно ... За девушкой ухаживают, а потом, когда она надоеет, ее бросают ... Но она так глупа, что полюбила всем сердцем, и не может, не в состоянии забыть ...

На этот раз тон ее был горький; губы ее дрожали; она рукою закрыла глаза, между тем как из груди ее чуть не вырвалось рыданье. Она сунула руку в карман и вытащила оттуда старенькую записную книжку, которую и подала ему. Он также сразу ее узнал. Это был его подарок, а в нем находился локон его волос. Он не мог больше сдерживаться и с восторгом прижал ее к своей груди, невзирая на прохожих, которые приходили и уходили из этого места.

– Теперь ты веришь? – спросила она, освобождаясь от его объятий.

Вместо ответа, он поцеловал ее руку.

sung der wenigen Habseligkeiten eines flotten Studenten. Das beruhigte sein Gewissen ein wenig. Und zum Überflusse sagte er sich, dass er Paulinen nichts schulde, dass sie seiner nicht bedürfe, dass sie, eine im Grunde anständige, ja vornehme Natur, weiterhin auf geraden Wegen wandeln werde. Freilich rief ihm trotzdem eine innere Stimme manchmal zu: «Feigling! Feigling!» Aber dann half er sich, indem er die Achsel zuckte und sich dachte, jeder andere würde an seiner Stelle ganz so gehandelt haben, und sie werde sich rasch genug trösten.

Das konnte er ihr allerdings nicht gestehen, aber es war auch gar nicht nötig. Sie hatte alles erraten.

Mit einem melancholischen Lächeln sagte sie: «Ich verstehe, mein armer Rudolf, ich verstehe. Du warst froh, die unbequeme Pauline loszuwerden. Die Kugel ersparte dir, mir den Abschied zu geben». Sie wollte mehr sagen, aber sie presste alles in ihr Herz zurück. Sie hatte ihm nie Vorwürfe gemacht, sollte sie es jetzt tun, an der Stelle, die sie so lange Jahre für sein Grab gehalten?

Er fasste ihre Hand und drückte sie innig. Um dem schmerzlichen Gespräch eine andere Wendung zu geben, fragte er: «Was tust du jetzt, wie geht es dir, Pauline?»

«Ich danke dir, dass du mich doch fragst». Es war nicht eine Spur von Ironie oder Bitterkeit in diesen Worten, nur Dankbarkeit. «Es geht mir ja ganz gut. Ich habe gearbeitet, ich habe mich selbständig gemacht, ich beschäftige heute acht bis zehn Arbeiterinnen, ich bin wohlhabend, fast reich».

Sie erriet in einem Blicke seiner Augen eine Frage und sprach rasch: «Immer, Rudolf, immer bin ich dir treu geblieben». Es hat mir nicht an Anträgen gefehlt, du begreifst das – aber ich wollte nicht. Ich schämte mich. Und ich wollte dein Andenken allein in meinem Herzen haben. Das wundert dich? Du glaubst es wohl gar nicht? Natürlich. Das ist auch gar nicht zu glauben. Man macht einem Mädchen den Hof. Was ist da weiter dabei? Und wenn man von ihr genug hat, lässt man sie sitzen. Sie aber war so töricht und hat ernst geliebt und kann sich nie, nie wieder trösten.“ Diesmal wollte sie bitter werden. Es zuckte ihr um den Mund, und sie fuhr sich mit dem Hand über die Augen, während sie einmal leise aufschluchzte. Plötzlich langte sie in ihre Tasche und holte ein altes ledernes Taschenbuch hervor, das sie ihm reichte. Und während er es mit Rührung als sein Notizbuch erkannte und auf der ersten Seite seine halbverwischte Karikatur wiederfand, die ein Kamerad der Ecole centrale einmal gezeichnet, zog sie aus dem Busen ein emailliertes Medaillon hervor, öffnete es und hielt es ihm vor die Augen. Es war ein Geschenk von ihm und enthielt eine braune Haarlocke – seine Haare! Er konnte seinem Drange

В свою очередь она захотела взять его руку. Но он сделал быстрое движение, чтобы спрятать ее.

Она все-таки увидела, что он спрятал, – это было обручальное кольцо. Она глубоко вздохнула, закрыла глаза и минуту колебалась. Затем, вдруг она опустилась на колени на то же место, на котором молилась, и губы ее снова зашептали прерванную молитву.

– Паулина! – вскрикнул он с мольбою.

Она тихо покачала головою, как будто желая отогнать от себя какой-то образ, и совсем отвернулась от него.

– Паулина! Дай же мне твой адрес. Я не могу так уйти.

Она закрыла лицо руками и ничего не отвечала.

Он приблизился к ней и положил ей руку на плечо. Сильная дрожь потрясла ее всю, но она еще сильнее зажала голову руками. Он тогда понял ее ...

Раздался первый удар колокола, возвещавший, что кладбище скоро запрут. Рудольф бросил быстрый взгляд по направлению к выходу. Там показались его жена и тесть, которым он назначил здесь место встречи и которые теперь искали его по кладбищу. Он посмотрел тогда еще раз на коленопреклоненную женщину и тихим, неслышным шагом удалился. Он прошел главную аллею как будто во сне, но, дойдя до выхода, остановился и обернулся. На западе небо горело красками заката. От земли подымался влажный туман, который понемногу заполнял аллеи кладбища и заволакивал силуэты прохожих. Окутанная этим влажным покровом, неподвижная фигура Паулины уже чуть-чуть обрисовывалась на вечернем небе и, казалось, понемногу расплывалась ...

И Рудольфу показалось, что это исчезала в холодном тумане его собственная молодость.

nicht widerstehen und riss sie stürmisch an seine Brust, trotz der Leute, die außerhalb des Blumenkreises ab und zu gingen.

«Glaubst du mir nun?» fragte sie und machte sich los.

Statt aller Antwort zog er ihre Hand an seine Lippen.

Sie hielt seine Rechte fest. «Und du, Rudolf?»

Mit einer unwillkürlichen Bewegung suchte er seine Hand aus der ihren zurückzuziehen. Das veranlasste sie, einen raschen Blick auf sie zu werfen. Der Goldfinger trug einen Ehering.

Sie stieß einen tiefen Seufzer aus, ließ seine Hand fahren, schloss die Augen und taumelte einen Augenblick. Dann sank sie plötzlich auf die Kniee nieder, an derselben Stelle, wo sie vorher gekniet hatte, und ihre Lippen begannen ein Gebet zu murmeln.

«Pauline!» rief er flehentlich.

Sie schüttelte ganz leise den Kopf, wie um ein inneres Gesicht zu verschrecken, und wandte sich ganz von ihm ab.

«Pauline! Lass mich wenigstens deine Adresse wissen! Ich will nicht wieder so von dir gehen».

Sie senkte das Haupt zwischen die vorgehaltenen gefalteten Hände und regte sich nicht und antwortete nicht.

Er trat ganz an sie heran und legte ihr die Hand auf die Schulter. Ein langer Schauer fuhr sichtbar und fühlbar über ihre Gestalt, und sie begrub ihr Haupt tiefer zwischen die Hände.

Er verstand sie...

Das erste Glockenzeichen ertönte, welches die nahe Schließung des Kirchhofs anzeigte. Rudolf warf einen raschen Blick nach dem Eingange. Dort erschienen eben seine Frau und sein Schwager, mit denen er dieses Stelldichein verabredet hatte, und schauten suchend nach allen Seiten aus. Er sah noch einmal auf die knieende Beterin nieder, dann verließ er langsamen, unhörbaren, stockenden Schrittes den Blumenkreis. Wie im Träume wanderte er die breite Avenue hinab. Fast beim Tor angelangt, blieb er stehen und wandte sich ein letztes Mal um. Der westliche Himmel war mit Abendröte übergossen. Von der feuchten Erde stieg ein feiner Nebel auf, der die Gänge des Kirchhofs erfüllte und die Umrisse der Menschen und Monumente verwischte. Und eingehüllt von diesen wallenden Dünsten hob sich die unbewegliche dunkle Gestalt Paulinens vom hellen Himmel ab und schien in einem Hintergrunde von flammendem Abendrot allmählich zu verdämmern.

Rudolf war es, als sähe er seine eigene Jugend verblassen und in weiße Nebelwölkchen verrinnen...



Леопольд фон Захер-Мазох
(Leopold von Sacher-Masoch, 1836–1895)

Леопольд фон Захер-Мазох (Leopold von Sacher-Masoch, 1836–1895) – один из крупнейших австрийский прозаиков XIX века. Захер-Мазох был успешным студентом, изучал юриспруденцию, математику и историю, уже в 19 лет получил степень доктора права. Работал приват-доцентом в Грацском университете. Его первый роман «Одна галицийская история. Год 1846» выходит в 1858 г., но публикуется анонимно. Захер-Мазох пробовал себя в различных жанрах (фельетоны, пьесы, исторические исследования и др.), был основателем и редактором нескольких журналов, работал в венском ежемесячнике «Международное ревю». Захер-Мазох некоторое время совмещал преподавательскую и писательскую деятельность, но после успеха романа «Дон Жуан из Коломьи», вышедшего на французском языке в 1872 г. в одном из парижских журналов, он полностью посвятил себя литературе. В своих произведениях писатель часто затрагивает жизнь народов Восточной Европы, что наилучшим образом отражено в сборниках «Галицкие рассказы» (1876), «Еврейские рассказы» (1878), «Польские еврейские рассказы» (1886).

Критика

В рубрике «Очерки заграничной жизни» со ссылкой на парижский журнал «Фигаро» описывается таинственное знакомство Захер-Мазоха с неким молодым человеком, который впоследствии оказался королем Баварии Людвигом II: «имея около себя гениального музыканта Вагнера, хотел еще иметь литератора, и выбор его пал на Захер-Мазоха». В 1895 г. в «Сибирском вестнике» перепечатывается некролог, включающий в себя краткую биографическую справку о писателе, и перечень некоторых его произведений, которые охарактеризованы автором некролога как «проникнутые живым талантом, богатой фантазией и необыкновенным колоритом». Отмечается также, что Захер-Мазох был популярен в России и его смерть является крупной литературной потерей.

Переводы

В 1892 г. в газете «Сибирский вестник» публикуется перевод рассказа «На санях» (Im Schlitten) из сборника «Польские истории» («Polnische Geschichten», 1887), в котором героиня, пани Людмила

Августович, пытается продвинуть супруга в политику, и в результате стечения обстоятельств и с помощью волевого честолюбивого характера ей это удастся. Повествование пропитано свойственным писателю народным колоритом.

Публикации

- Очерки заграничной жизни // Сибирский вестник. – 1887. – № 4. – С. 3.
На санях. Захер-Мазоха // Сибирский вестник. – 1892. – №1. – С. 2.
Захер-Мазох (Некролог) // Сибирский вестник. – 1895. – №32. – С. 2.

Литература

Никонова Н.Е. Иностранная литература современности в «Сибирском вестнике» конца XIX века на материале рецепции творчества Л. фон Захер-Мазоха // Сибирский текст в русской культуре: Сб. статей. – Вып. 2 /Под ред. А.П. Казаркина, Н.В. Серебrenникова. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. – С. 190–195.

Im Schlitten

Der Mond scheint hell und die Fenster des Edelhofes von Wolkow erglänzen im Kerzenschimmer. Die Stimmen der Diener, welche die Kut-scher herbeirufen, mischen sich gellend in das Gespräch und die Scherze der Damen und Herren, welche, in kostbare Pelze gehüllt, zwischen den Säulen des Vorbaues, auf denen der von Schnee, Eis und Mondlicht versilberte grosse Balkon ruht, ihre Gefährte erwarten. Der Herr des Hauses, Baron Hudetz, in seinem Zobelpelz und seiner Mütze von Zobelfell, das wetterbraune Gesicht von einem schwarzen Bart umrahmt, an einen mächtigen Starosten der einstigen Polenrepublik mahnend, sendet dem ersten Schlitten, der sich in Bewegung gesetzt hat, den letzten freundlichen Gruss nach, doch vergebens.

Die schöne Frau Ludmilla Augustinowitsch hat sich auffallend beeilt, sein gastliches Dach zu verlassen, und während ihr Gatte dem alten He-ger, der mit zwei Hunden an der Schnur sich ehrerbietig vor dem wohlbe-kannten Nimrod verneigt, herzlich zunickt, hat sie nicht einmal einen Blick für den galanten Magnaten.

Ihr war auf dem Parket zu Wolkow zu Mute wie jener bösen Königin des Volksmärchens, die in glühenden Pantoffeln tanzen muss; sie fühlte sich erst wieder frei und wohl, als sie, in ihren weichen, warmen

На санях. Захер-Мазоха (с немецкого)

Была ясная, лунная ночь, окна господского дома в Волковом были полны света от горевших восковых свечей. Голоса слуг, выкрикивающих кучеров, резко отделились от разговора и шуток дам и мужчин, которые, закутавшись в свои дорогие шубы, стояли между колоннами, над которыми высился большой, от мороза и лунного света серебрившийся балкон, и терпеливо ждали подъезда своих экипажей. Хозяин дома, барон Гудец, в собольей шубе и такого же меха шапке, с лицом, обрамленным черной бородой, напоминавшим старост прежней польской республики, посылал последний свой привет первым двинувшимся в путь саням – но тщетно.

Красивая пани Людмила Августович с изумительной поспешностью торопилась оставить гостеприимный его дом, и в то время как муж ее добродушно кивнул головой старому ловчему, который, держа на шнуре двух собак, с почтением низко поклонился ему, слывшему в околodge за Немврода, она не удостоила элегантного магната даже взглядом.

Господский дом в Волковом с его паркетными полами ей был приятен так же, как в народной сказке злой королеве, которой пришлось танцевать в раскаленных туфлях, и потому она почувствовала

Pelz geschmiegt, in den Bärenfellen saß, mit denen ihr Schlitten gefüllt war, die Peitsche knallte und das Dreigespann mutig davonflog.

Ludmilla war schön und geistreich, alle Welt huldigte ihr, aber dies befriedigte ihren Ehrgeiz nicht, sie wollte als echte galizische Dame ihre Rolle auf der politischen Bühne spielen und begann damit, dass sie ihren Mann à tout prix zum Deputierten machen wollte.

Sie war aber gleich bei ihrem ersten Versuch in dem Edelhofe zu Wolkow, wo sich der Adel der Umgegend bei Gelegenheit des Namensfestes der Baronin Hudetz versammelt hatte, in einer Weise gescheitert, welche sie beleidigte und ihre ganze Tatkraft herausforderte. Sie saß auch jetzt noch, während ihr Mann behaglich seine Meerschaumpfeife rauchte, in sich gekehrt, brütend da und ihr reizendes Gesicht blickte gar finster und trotzig aus dem weißen Baschlik hervor.

Vor ihr lag die weite Ebene, vom schimmernden Schnee bedeckt, bis zum fernen Horizonte war nichts zu sehen als hie und da ein Ziehbrunnen, ein paar verkrüppelte Weidenbäume oder ein hölzernes Kreuz, nichts hemmte ihren Blick und nichts den Flug ihrer Gedanken. Je nachdem Wolken an dem Monde vorüberzogen oder er voll und rein an dem blassblauen Himmel zu sehen war, strömten Glanzwellen über den Schnee oder spielten unheimliche Schatten auf demselben. Ein verlorener Glockenton wurde vom Winde, der sich plötzlich erhob, durch die Stille der Nacht getragen, er schien ein Signal zu sein, denn mehr und mehr blies es von Osten her über die Fläche, schon stand jedes Härchen an dem Marderpelz der schönen, sinnenden Frau empor, und jetzt begann sich auch der Schnee zu kräuseln, in kleinen Säulen aus dunkelnden Sternchen ringsum emporzusteigen und endlich grosse Wellen zu schlagen wie ein stürmisches Meer.

Der Kutscher hielt die Pferde an.

«Gnädige Frau», sprach er, «Gott soll uns beschützen, wir fahren geradeaus in einen Schneewirbel hinein».

«Was ist da zu machen?»

«Wenn wir uns bei dem Teiche rechts wenden, sind wir bald in Granadka, wo wir eher Schutz finden.»

«Also nach Granadka».

Der Teich war bald erreicht. In dem Augenblick, wo der Schlitten die Richtung nach dem Dorfe nahm, kamen aber aus dem Gebüsch Wölfe hervor. Sofort begannen die Pferde zu schnauben und mächtig auszugreifen; aber bis zu den ersten Häusern des Dorfes waren die grimmigen Ver-

себя легче и свободнее только тогда, когда села в сани с большим медвежьим пологом и закуталась в теплую мягкую свою шубу, когда в воздухе защелкал кнут и лихая тройка быстро помчала ее из Волкова.

Людмила была красива, умна и пользовалась при этом всеобщим уважением, но это удовлетворить ее не могло, она, как чистая галичанка, хотела играть роль политическую и для этой цели поставила себе в непременный долг, во что бы то ни стало, сделать своего мужа депутатом.

Но в Волковом, куда по случаю именин барона Гудеца собралось все окрестное дворянство, ее первая попытка по этому делу не удалась, что крайне ее оскорбило и возбудило к деятельности все ее силы. И теперь, когда муж ее, сидя в санях, покойно курил пенковую трубку, она мрачно и сурово выглядывала из под своего белого башлыка.

Перед ее глазами расстилалась покрытая блестящим снегом равнина, на которой взору до самого горизонта ничего не представлялось, кроме какого-нибудь где-либо колодца, двух изуродованных ивовых деревьев или деревянного креста, что полету ее мыслей открывало большой простор. Когда луну пересекало облако или она показывалась на бледно-голубом фоне неба, снежная поверхность равнины покрывалась блестящими волнами или по ней начинали двигаться какие-то таинственные тени. Но вот поднявшийся внезапно ветер принес издалека замирающие звуки колокола, которые нарушили царившую тишину ночи; они, казалось, были сигналом, предупреждением, так как ветер усиливался, волосинки шубы прекрасной женщины стали подыматься вверх, снег начало крутить, заходили столбы блестящей пыли и, наконец, как на море, превратилось все в общую бушующую волну.

Кучер остановил лошадей.

– Барыня! – сказал он, – мы едем прямо навстречу снежному урагану. Да сохранит нас Бог.

– Что же нам делать теперь?

– Если у пруда мы повернем направо, то попадем в Гранадку, где нам можно будет укрыться.

– Так поезжай туда!

Пруд был скоро достигнут, но когда от него сани взяли направление на деревню, из кустов вышло несколько волков. Кони захрапели и стали метаться; хищники проводили путешественников до

folger immer hinterdrein, man sah sie zwar nicht, denn der Sturm hatte dichte weiße Schneevorhänge um den Schlitten gezogen, aber man hörte von Zeit zu Zeit ihr heiseres Gebell.

Erst vor der Schänke in Granadka hielt der Kutscher die wie rasend dahineilenden Pferde an. Herr Augustinowitsch hob seine Gemahlin aus dem Schlitten, und beide traten, von dem Branntweinpächter Aaron Malkes mit den drolligsten Komplimenten empfangen, in die grosse Schänkstube, die mit Bauern und Bäuerinnen in schweren Stiefeln und Schafspelzen, Tabaksqualm und wirbelndem Staub angefüllt war und in der fünf jüdische Musikanten eben eine Mazur spielten.

Frau Augustinowitsch ließ sich auf einer Bank an der Wand nieder und sah halb neugierig, halb verdrießlich dem ungewohnten Treiben der Leute zu, welche bereits sämtlich durch den Branntwein des wackern Malkes lustig geworden waren, während ihr Mann sich einen Slivovitz einschenken ließ und mit der hübschen, glutäugigen Jüdin scherzte.

Da näherte sich der schönen Edelfrau eine bekannte Gestalt, Tomasch Kintzki, der greise Richter von Granadka, mit einem Branntweingläschen in der Hand.

«Der Himmel soll es Ihnen lohnen,» begann er, «dass Sie sich einmal unter uns Bauern blicken lassen, wenn die Herren ein Herz für uns hätten, es wäre Vieles anders. Bleiben Sie gesund».

Er nippte von dem Branntwein und reichte dann das Gläschen Ludmilla, welche, einer plötzlichen Regung folgend, aufstand und dasselbe auf einen Zug leerte.

«Viele Jahre! Viele Jahre!» rief der alte Richter und die Anderen fielen laut ein.

Frau Augustinowitsch näherte sich indess rasch ihrem Mann und nahm ihn beim Ohrläppchen.

«Höre, Alter», flüsterte sie ihm zu, «ich habe eine grosse Idee».

«Du hast immer grosse Ideen, meine Geliebte».

«Erinnern wir uns doch, dass wir Abkömmlinge der alten Bojaren sind, die in Halitsch den Thron des Zaren umgaben», fuhr sie fort, «wozu sich mit den polnischen Edelleuten verbrüdern, die uns doch nie als ih-resgleichen ansehen; kehren wir zu unserem Volk zurück, ich bin gewiss, dass Dich die Bauern zum Deputierten wählen».

«Wie Du glaubst».

«Versuch Dich populär zu machen, Alter. Sieh mich nur an, ich werde Dir mit gutem Beispiel vorangehen».

первых домов деревни; хотя их по случаю сильной метели видно не было, но сиплый лай, производимый ими, слышался по временам очень близко около саней.

В Гранадке кучер остановил лошадей у корчмы. Августович высадил из саней жену свою, и оба с избитыми плоскими комплиментами встречены были содержателем корчмы Аароном Мальте в большой комнате, битком набитой крестьянами и крестьянками в огромных сапогах и овчинных шубах и наполненной клубами табачного дыма и пылью; пять музыкантов из евреев играли мазурку.

Пани Августович села на стоящую у стены скамью и наполовину с любопытством, наполовину с досадой смотрела на подпившую толпу, которая веселилась и выкидывала перед нею разные необычные штуки; муж ее в это время пробовал сливовицу и шутил с черноглазой жидовкой.

Судья Гранадки, всеми уважаемый старик Томаш Кинци, со стаканом водки в руке подошел к благородной даме.

– Небо да вознаградит Вас, – начал он, – что вы хоть раз показались между нами, простыми крестьянами; если бы господа были к нам добры, тогда было бы не то, многое бы изменилось. Дай вам Бог здоровья!

Отпив немного из стакана, он подал его Людмиле Августович, которая, подчиняясь какому-то сильному внутреннему побуждению, встала и выпила стакан с водкой залпом.

– Многие лета! Многие лета! – крикнул старый судья, и эти слова подхвачены были всеми остальными.

Тогда Людмила подошла к своему мужу и тихо шепнула ему на ухо:

– Слушай, мне пришла в голову великая идея.

– У тебя великая идея, милая?

– Припомни только, что мы потомки древних бояр, которые в Галиче некогда окружали царский трон, – продолжала она, – для чего нам политизировать себя, брататься с польскими дворянами, которые никогда не признавали нас с собой равными; возвратимся к нашему народу! Я уверена, что он изберет тебя в свои депутаты.

– Как думаешь ты устроить это?

– Постарайся быть только как можно проще. Смотри на меня, что я буду делать, и следуй моему примеру.

Und wirklich warf sie rasch ihren prächtigen Pelz und den Baschlik ab, schürzte ihre Pariser Robe auf und trat mit dem Sohne des Richters, Tarass Kintzki, dem schönsten und verwegensten Burschen von Granadka, der bereits vier Bären erlegt hatte und mit der Tapferkeitsmedaille aus dem letzten Krieg heimgekehrt war, in die Reihen der Tanzenden.

Alle machten Platz und bald tanzte das schöne Paar allein mitten in der grossen Schänkstube, während die Anderen nach dem wilden Takte der Musik eine kecke ausgelassene Kolomijka sangen:

«Steh' ich auf dem Berg, dem hohen,
Scheint der andere nieder,
Ist ein Liebchen mir entflohen,
Kommt die Zweite wieder.»

Wenn Tarass mit der stolzen Würde eines Bojaren die schöne, schlanke Frau umkreiste, so wiegte sich diese wieder mit der ganzen Grazie und Elastizität einer vornehmen Dame nach den feurigen Rhythmen der diabolischen Musik in den üppigen Hüften. Bald folgte ihr Mann ihrem Beispiel und nahm eine hübsche, frische Bäuerin um den Leib. Er sprang zwar wie ein Gaisbock herum und ersetzte durch kräftiges Stampfen mit den Füßen, was ihm an Anmut abging, aber nichts wäre mehr im Stande gewesen, die Begeisterung der Bauern zu dämpfen, welche ihrem Entzücken durch lautes Mitsingen der Melodie, durch Zusammenschlagen der Hände über dem Kopfe und wütendes Treten des Fussbodens Ausdruck gaben.

Kaum hielten die Tanzenden inne, rief der alte Richter:

«Kosak! Kosak! Tanzen Sie Kosak, wir bitten darum».

«Von Herzen gern», antwortete Ludmilla, «aber so geht es nicht».

Sie war im Nu verschwunden und zog mit Hilfe der Jüdin im Nebenzimmer den Sonntagsanzug ihrer Magd an; als die dann unerwartet in roten Stiefeln, an denen kleine Hufeisen von Stahl gleich Sporen erklangen, einem kurzen bunten Rock und roten Mieder, den Kopf mit einem weissen Tuch umwunden, die Brust mit Korallen bedeckt, hereintrat, wollte der Jubel kein Ende nehmen, und als sie erst, den linken Arm kokett eingestemmt, den Kosak zu tanzen begann, hatte sie alle Herzen gewonnen.

Plötzlich entstand Lärm im Hofe.

«Wölfe! Wölfe!» rief der Jude und stürzte totenbleich herein. Die jungen Burschen eilten mit Stecken und Peitschen hinaus. Eine wilde Jagd begann und während der allgemeinen Verwirrung flüchtete ein Wolf durch die offene Thür in die Schänkstube und stand jetzt, die Zähne fletschend, mitten unter den Frauen und Mädchen, welche schreiend auseinander stoben.

И действительно, сбросив с себя шубу и башлык и подобрав повыше свое парижское платье, она тотчас же вступила в ряды танцующих с сыном судьи Тарасом Кинци, самым красивейшим и смелым молодым человеком в Галиции, который убил уже пять медведей и вернулся из последней войны с медалью за храбрость.

Все подались назад, и скоро посредине большой комнаты танцевала только одна прекрасная пара, остальные в это время начали громко петь веселую «коломиёку».

С гордым чувством барина Тарас кружился в танце с прекрасной, стройной женщиной, которая со всею грацией великосветской дамы ловко работала своими маленькими ножками, поддельваясь под ужасный размер дьявольской музыки. Скоро ее примеру последовал и ее муж. Обхватив талию одной красивой крестьянки, он начал скакать с ней как козел, причем недостаток искусного исполнения танца он вознаграждал сильным притаптываньем ногами по полу, что приводило крестьян в не имеющий границ восторг, который они выражали хлопаньем поднятых над головой рук и яростным топаньем ног.

Когда танцующие остановились, судья Томаш Кинци крикнул:

– Казака, казака! Вы станцуете нам казака, мы вас все об этом просим.

– С удовольствием, – ответила Людмила, – но только так будет неловко, – и в то же мгновение исчезла в соседнюю комнату, где с помощью еврейки надела на себя все праздничное одеяние ее служанки, и потом, когда она возвратилась опять, в красных сапожках с звенящими, как шпоры, стальными подковами, коротком пестром кафтане, красном корсете, с белым платком на голове и кораллами на груди, ликованию между присутствующими не было конца, а затем, когда она кокетливо дала рукой знак начинать «казака», сердца всех положительно уже принадлежали ей. В это время на дворе поднялся вдруг шум.

– Волки, волки! – бледный как смерть, с криком вбежал в комнату еврей. Молодые парни с палками и бичами выбежали на улицу. Началась дикая травля, во время которой и благодаря всеобщей суматохе один волк через растворенные двери вбежал в комнату и, оскалив зубы, остановился посреди женщин и девушек; те, испугавшись, от страха с криком разбежались все в разные стороны.

Da sprang Frau Augustinowitsch auf ihren Pelz zu, zog aus der Tasche desselben einen Revolver und schoss den Wolf nieder.

Dies Alles war das Werk eines Augenblicks, im nächsten hoben die Bauern die schöne Frau auf ihre Schultern und trugen sie im Triumphe herum.

Als der Schneesturm sich gelegt hatte und Augustinowitsch mit seiner Frau die Heimfahrt antrat, gab ihnen ein halbes Hundert Bauern zu Pferde mit Kienfackeln das Geleite.

In den nächsten Tagen fand in dem Edelhofe des Ehepaares Augustinowitsch zu Koschowize eine förmliche Umwälzung statt. Die Bilder, welche bisher die Wände geziert: König Sobieski, Marschall Poniatowski, Bem, die Gräfin Plater, Miczkiewicz wanderten in die Rumpelkammer, ihre Stelle nahmen die Portraits des Zaren Wladimir des Grossen, der Grossfürstin Olga von Kiew, des Fürsten Leo von Halitsch, des Erzbischofs Litwinowitsch und der kleinrussischen Dichter Gogol und Schewtschenko ein. Die Schlachten bei Wien, Somma Siera, Ostrolenka, Grochow wurden durch Darstellungen der Siege der Kosaken über die Polen verdrängt. Auf dem Tische im Salon lagen nicht mehr «Konrad Wallenrod» und «Jermola der Töpfer», sondern der «Heldensang von Igor» und die «Toten Seelen». Ludmilla spielte auf dem Piano nur noch kleinrussische Lieder, Dumkas und Kolomijkas, und Alles ging im Hause im Kosakenanzug umher, die Diener, welche bisher das Krakusenkostüm getragen hatten, Herr Augustinowitsch, die Kinder, vor Allem aber Ludmilla selbst, der die roten Stiefel mit klingenden silbernen Absätzen, der kurze seidene Rock, die samtene, mit Pelz besetzte, ärmellose Kosakenjacke, welche ihre schönen, vollen Arme sehen ließ, und die langen fliegenden Zöpfe einen neuen Reiz verliehen.

Statt der polnischen Edelleute waren jetzt kleinrussische Pfarrer, Kirchensänger, Lehrer und Bauern die täglichen Gäste in Koschowize.

Ludmilla lebte durch ein paar Wochen nur noch im Schlitten; in ihren prächtigen Marderpelz gehüllt, mit Bärenfellen zugedeckt, flog sie von Dorf zu Dorf, von Pfarrhof zu Pfarrhof, überall, wo sie sich nur blicken liess, die Leute bezaubernd und für ihren Mann erobernd.

Als Augustinowitsch schliesslich noch die Schule in Koschowize auf seine Kosten herstellen liess und dem Nationalhause in Lemberg eine namhafte Schenkung machte, war seine Wahl entschieden, und vierzehn Tage später ging er als Deputierte des Wahlbezirkes Wolkow, Koschowize, Granadka aus der Urne hervor.

Людмила в эту минуту быстро подбежала к своей шубе и, вынув из ее кармана револьвер, тут же пристрелила волка.

Все это произошло внезапно, в одно мгновение, после чего крестьяне подняли неустрашимую женщину на руки и с триумфом стали носить ее кругом.

Вскоре после этого в Кошовицах и в доме Августовичей произошел формальный положительный переворот. Все, кто до сих пор носил краковский костюм, – прислуга, сам Августович, дети и жена его, имели теперь казацкую одежду. Людмила в этом отношении в особенности отличалась перед другими. Но красные сапоги с звенящими серебряными каблуками, короткий шелковый кафтан, бархатная с меховой опушкой куртка без рукавов, дававшая возможность любоваться ее прекрасными полными руками, и длинная распущенная позади коса придавали ее красоте еще большую очаровательность.

Теперь постоянными посетителями и желанными гостями в Кошовицах, вместо польских панов, сделались: приходский священник, регент, учитель и простые крестьяне, – все они были малороссийского происхождения.

В то же самое время Людмила Августович на санях с медвежьей шкурой, закутавшись в свою кунью шубу, разъезжала в продолжение двух недель по селам, деревням и приходам и везде, где ни показывалась, своим внушительным и чарующим видом приобретала повсюду голоса в пользу своего мужа.

После того как Августович поспособствовал восстановлению в Кошовицах школы и сделал значительный вклад в народную кассу Лемберга, вопрос о выборе его считался почти решенным; через четырнадцать же дней он уже действительно стал депутатом в избирательном округе Волково, Кошовиц и Гранадки.

Это был день великого торжества в Кошовицах. Крестьяне стекались туда со всех сторон верхами на лошадях, убранных разноцветными лентами; одни из крестьян держали в своих руках знамена голубого и желтого цвета, другие – небольшие ели, по ветвям которых развешаны были позолоченные орехи, яблоки. Они приветствовали своего депутата громкими и дружными «ура», а затем в обширном амбаре сами были любезно угощаемы хозяевами, причем Августович поил их здорово, а когда заиграла музыка, жена его Людмила до устали танцевала с молодыми людьми «казака».

Es gab an diesem Tage ein großes Fest in Koschowize. Die Bauern kamen von weit und breit, zu Pferde, mit farbigen Bändern geschmückt, einige mit blau und gelben Fähnchen, andere mit kleinen Tannenbäumen in den Händen, welche mit vergoldeten Nüssen und Äpfeln behangen waren. Sie brachten ihrem Deputierten ein dreimaliges Hurrah und wurden dann in der großen Scheuer bewirtet. Augustinowitsch trank ihnen zu, und als die Musikanten zu spielen begannen, tanzte Ludmilla unermüdlich mit den Burschen Kolomijka und Kosak.

Heute hat die schöne, ehrgeizige Frau ihr Ziel vollständig erreicht und spielt genau jene Rolle, von welcher sie so lange vergeblich geträumt hat. Sie hat in Lemberg einen politischen Salon, welcher einen Brennpunkt des kleinrussischen Parteilebens bildet, alle Welt huldigt ihrer Schönheit und ihrem Geiste. Durch ihre kleinen weissen Hände laufen die unsichtbaren Fäden so mancher politischen Intrigue, die versteht es, mit kluger Berechnung heimlich und sicher Minen zu legen, welche dann plötzlich in Wien oder Prag, Kiew oder St. Petersburg explodieren, sie diktiert den Redakteuren Artikel über die Lage des Landes und die europäische Politik, und die Reden, welche Augustinowitsch im Landtag hält, sind so sehr ihr Eigentum, dass der Landesmarschall jedesmal, wenn sich ihr Mann zum Worte meldet, mit Fug und Recht ausrufen könnte: «Frau Augustinowitsch hat das Wort!»

Честолюбивая женщина достигла своей цели и начала с точностью разыгрывать роль, о которой тщетно так долго мечтала. В Лемберге она достроила салон, который стал фокусом всей малороссийской политической жизни, ее же ум и простота были повсюду восхвалены и возвеличены. В ее маленьких белых руках находились все нити тайных политических интриг, она без больших хлопот умела искусно подвести верную мину, которая производила взрыв в Вене или Праге, в Киеве или в С.-Петербурге, она писала в газеты статьи о положении своего отечества и о политическом состоянии всей Европы, наконец, речи, которые ее муж произносил на сеймах, были собственного ее произведения, так что сеймский маршал был бы совершенно прав, если бы в то время, когда муж ее всходил на трибуну, провозглашал: «Мадам Августович будет говорить!»

Кузнечик



Оскар Блюменталь
(Oscar Blumenthal, 1852–1917)

Оскар Блюменталь (Oscar Blumenthal, 1852–1917) – немецкий драматург, поэт и театральный критик, а также талантливый шахматист и шахматный композитор. Получив степень доктора философии в Лейпцигском университете, Блюменталь занялся редакторской и издательской деятельностью в Лейпциге и затем в Берлине. В 1875–1887 гг. Блюменталь состоял литературным редактором и театральным критиком в газете «Берлинский листок» («Berliner Tageblatt»), где за свои остроумные, а порой и очень резкие рецензии получил прозвище «blutiger Oskar» – «кровожадный Оскар». С конца 1880-х Блюменталь посвятил себя театру: создал и возглавил в Берлине Лессинг-театр, затем руководил также Берлинским театром. Помимо множества популярных комедий, был известен короткими юмористическими стихами и эпиграммами, сочинял не менее остроумные рассказы, примеры которых можно найти в настоящей хрестоматии.

Приведенные далее рассказы «Слова» и «На лестнице» вышли в декабрьском номере «Берлинского листка» за 1901 год, и в тот же месяц их переводы появились на страницах сибирских газет. Именно эти два рассказа Блюменталья из четырех, напечатанных в местной периодике, были специально переведены сибирским автором, скрывшимся за подписями Б. и М.В. Примечательно, что интерес к Блюменталю в Сибири не угасал. Так, тремя годами позднее другой перевод рассказа «На лестнице» был перепечатан в «Сибирской жизни» из «Одесских новостей».

Публикации (переводы)

Маленькие рассказы Оскара Блюменталья (с немецкого). Два приговора. Часы вселенной // Сибирская жизнь. – 1904. – № 77 (14 августа). – С. 3.

Слова (из рассказов Оскара Блюменталья) // Сибирский вестник. – 1901. – № 271 (16 декабря). – С. 2.

На лестнице (из рассказов О. Блюменталья) // Сибирский вестник. – 1901. – № 265 (9 декабря). – С. 2.

На лестнице (из «Поучительных рассказов» О. Блюменталья) // Сибирская жизнь. – 1904. – № 176 (14 августа). – С. 3.

Оригиналы

Nachdenkliche Geschichten von Oscar Blumenthal. Auf der Treppe // Berliner Tageblatt. – Berlin, 2. Dezember, 1901.

Nachdenkliche Geschichten von Oscar Blumenthal. Worte // Berliner Tageblatt. – Berlin, 2. Dezember, 1901.

Auf der Treppe

In einem Hause, das am Rand eines Gartens lag, trafen sich zwei Männer auf der Treppe. Der Eine – in der Reife des Lebens – kam zögernd und nachdenklich von oben, als wenn schwermütige Erinnerungen seine Schritte hemmten. Der Andere – ein Jüngling in der Blüte der Kraft – eilte rasch und ungeduldig hinauf, wie von Sehnsucht und Leidenschaft emporgetragen. Auf dem Treppenabsatz sahen sich die beiden Männer einen Augenblick an, und der ältere, dem ein bitteres Lächeln um die Lippen zuckte, sagte leise und mahnend:

«Gehen Sie nicht weiter!...Ihre heißen Blicke verraten mir, welches Ihr Ziel ist. Aber glauben Sie dem Erfahrenen, der seine Einsicht durch Reue und Selstverachtung gezahlt hat: Wohl werden Sie die Schönheit finden, aber auch die Treulosigkeit. Sie werden den Rausch finden- aber auch Ekel. Und eines Tages werden Sie zornig und reuevoll den Weg suchen, der wieder ins Freie und Reine führt...Glauben Sie mir?»

«Ich glaube Ihnen», erwiderte der Jüngling, «aber Sie müssen auch mir glauben: Ich kann nicht anders!»

Eilig ging er nach oben, während der Andre hinabstieg, und die Haustür klirrend hinter sich ins Schloß fallen ließ. Drei Monate später trafen sich die beiden Männer abermals auf der Treppe dieses Hauses. Aber jetzt war es der Jüngling, der hastig nach unten eilte, während der Andre langsam und wie im Kampfe mit sich selbst emporstieg. Abermals sahen sie auf dem Treppenabsatz einander in die Augen. Dem reisen Mann stieg die Schamröte ins Gesicht, und leise fragte er:

«Sie scheiden?»

«Ja...und Sie?»

«Ich kehre wieder. Aber unterdrücken Sie das höhnische Lächeln, das ich in Ihren Mundwinkeln aufsuchen sehe! Das ist wie der Magnetberg des Märchens. Das läßt Einen nicht los. Das hält fest für immer. Da reißt uns keine Einsicht und Erfahrung ins Freie. Und wenn Sie mich jezt auch mit Hohnworten überschütten möchten, ich verkünde es Ihnen, daß wir uns nicht zum lezten Male auf dieser Treppe begegnet sind».

Mit einem rauhen Lachen eilte der Jüngling an ihm vorüber. Der Andre ging weiter, zaubernd und beschämt, aber doch von Stufe zu Stufe

На лестнице (из рассказов О. Блюменталья)

На лестнице одного дома, выходящего углом в сад, встретились два человека. Один из них был уже мужчина зрелых лет. Он сосредоточенно и задумчиво спускался вниз, как будто бы тяжелые воспоминания придавливали его шаги. Другой, – юноша в полном расцвете сил и здоровья, – быстро и нетерпеливо стремился вверх, как будто бы в нем клокотали все страсти и чувства. На одной из ступенек лестницы они поравнялись, окинули друг друга быстрым взглядом. Старший, у которого на губах играла горькая усмешка, тихо, но с ударением на каждом слове, проговорил:

– Стойте!.. Ваш горящий взор объяснил мне все, сказал мне о вашей цели. Но поверьте мне, опытному, купившему себе разум путем горьких разочарований и самобичеваний: вы найдете там не только красоту, но и вероломство, – не только упоение любви, но и отвращение. И в один не прекрасный день вы, полный раскаяния и гнева, будете страстно искать дорогу, которая выведет вас на свободу... Верите вы мне? – Я верю вам, – отвечал юноша, – но и вы должны поверить мне: я не могу иначе!..

Он быстро стал подниматься вверх, а более старый начал спускаться, и скоро скрипящая дверь закрыла за ним вход на замок.

Месяца через три спустя после этого разговора они снова встречались на ступенях того же дома.

Но теперь уже юноша торопливо сбегал вниз, а другой – медленно, как бы находясь в борьбе с самим собою, поднимался вверх.

Снова они встретились взорами на одной из ступенек лестницы. Пожилой мужчина, с краской стыда на лице, остановился и спросил,

– Вы разошлись?

– Да... А вы?

– Я возвращаюсь. Но скройте, пожалуйста, эту насмешливую улыбку, которую я вижу на вашем лице! Она все равно как магнитная гора в сказках... Никого не отпускает, всегда слишком твердо привязывает... И ни голос рассудка, ни опыт не могут вывести на свободу. И если вы теперь наградите меня словами укоризны и насмешки, то я предскажу вам, что не в последний раз встретились мы на этой лестнице...

aufwärts schreitend. Und dieses Hinauf und Hinauf ist ihm plötzlich zu einem Sinnbild aller menschlichen Torheit und Weisheit geworden.

Worte

Als Marcus Tullius Cicero in der Mittagshöhe seines Ruhmes stand und durch die unerhörte Macht und Fülle seiner Beredsamkeit selbst kaltblütige Männer überwunden hatte, gab es nur Einen in Rom, der unter diesem tönenden Wassersturz von Worten still und gleichmütig blieb, und das war Metellus Cimber. Vergebens suchten ihm die Bewunderer Ciceros für den Zauber der Rednerkunst das Ohr zu öffnen. Er erwiderte immer nur kurz und gefassen:

«Worte!... Es sind nichts als Worte!»

«Ja, erkennst Du denn nicht», fragte man ihn, «was die Worte an Gewalt gewinnen können, wenn sie ein Cicero meistert? Wie ihm aus allen Haupt- und Nebenflüssen der Sprache unerschöpflich immer neue Reichtümer zuströmen? Welche Melodien in seiner Prosa rauschen, und wie er bald schmeichlerisch und bald strafend, gleich mächtig in Zorn und Sanftmut, in Liebe und Haß, selbst die Widerstrebenden fortreißt und die Kältesten beflügelt?»

«Worte!... Es sind nichts als Worte!» entgegnete Metellus Cimber aufs Neue und achtete des Unmuts der Anderen. Um diese Zeit erreichte Cicero den größten seiner Triumphe durch eine Leichenrede, in der er die schöpferische Gewalt des Leids verherrlichte.

«O, über die fruchtbare Kraft des Schmerzes», rief er aus, «der selbst den schweigsamen Mann zum Poeten macht und erhabene Worte auch aus dem Munde der Kunstlosen hervorlockt! Der Schmerz ist es, der nie Gehörtes aus den Tiefen der Seelen schürft, der die Stummen beredet macht und selbst das Herz der Verhärteten in erschütternden Worten aufschließt».

Aber auch diesmal mischte Metellus Cimber in den Chor der Bewunderer seinen unabänderlichen Kehrreim:

«Worte!... Es sind nichts als Worte!»

Da geschah es, daß Ciceros geliebteste Tochter Tullia, von einer Seuche dahingerasst wurde, während der gefeierte Redner im Dienst des

С грубым смехом поспешил юноша уйти от него, а тот медленно и конфузливо шел ступень за ступенью дальше, наверх.

И это восхождение и нисхождение казались ему лучшими символами человеческой глупости и мудрости...

Б.

Слова
(из рассказов О. Блюменталья)

Когда Марк Туллий Цицерон находился уже в зените своей славы и неслыханною силою и мощью своего ораторского таланта покорял даже самых хладнокровных людей, в Риме в это время был только один человек, который оставался хладнокровным и равнодушным под действием этого звучного каскада слов, – и это был Метелл Цимбер. Тщетно пытались поклонники Цицерона открыть ему уши для чарующего волшебства ораторского таланта Цицерона. Метелл отвечал всегда кратко и спокойно:

– Слова!.. Одни только слова!..

– Да, – говорили ему, – но разве ты не знаешь, какую силу приобретают эти слова, когда их произносит Цицерон? Какое богатство новых понятий и сочетаний извлекает он из наших слов? Как он отделяет свои искусные периоды и стройно нанизывает в своей речи? Какие мелодии звучат в его прозе? Как он побеждает противников и растрагивает хладнокровных, когда то скорбно, то полный гнева и мести, то с любовью, то с ненавистью произносит свои речи?

– Слова!.. Одни только слова!.. – отвечал Метелл Цимбер на эти речи, и несколько не удивлялся восторженности других.

Около этого времени Цицерон достиг настоящего триумфа после одной своей надгробной речи, в которой он восхвалил творческую силу скорби.

– О, плодоносная сила скорби, – восклицал оратор, – ты даже самых молчаливейших людей делаешь поэтами и извлекаешь возвышенные слова из уст людей, лишенных всякого дара! Эта скорбь отверзает уши неслышащих, это она заставляет говорить немых и смягчает всякое железное сердце!..

– Слова!.. Одни только слова!..

Случилось около этого времени, что у Цицерона умерла любимая дочь Туллия. Умерла она от какой-то заразной болезни в то вре-

Staates nach Sizilien gereist war. Von seinen bestürzten Freunden wurde Metellus Cimber betraut, ihm entgegenzueilen und ihm die Unglückstunde zu überbringen. Er tat es mitleidsvoll und mit der zartesten Schwung. Cicero aber verhüllte, als er die Botschaft vernommen, sein Haupt mit der Toga und bat mit einer traurig fortweisenden Bewegung den Metellus, ihn allein zu lassen in der trostlosen Einsamkeit seines Vaterschmerzes. Als Metellus Cimber zu den Freunden zurückgekehrt war, bestürmten sie ihn mit erregten Fragen:

«Wie hat er deine Kunde aufgenommen? Was hat er gesagt, der große Redner?»

Leise berichtete Metellus:

«Er hat nichts gesagt...Und bei allen Göttern, das ist seine erste Rede, die mich ergriffen hat».

мя, когда Цицерон по делам государственной службы находился в Сицилии. Друзья уговорили Метелла Цимбера съездить в Сицилию и сообщить ужасную новость несчастному отцу.

Цимбер исполнил поручение, полный ласкового участия и нежной осторожности. Когда Цицерон узнал о постигшем его несчастье, то закрыл тогой свою бедную голову и попросил оставить его одного. Горе отца требовало одиночества...

Когда Метелл Цимбер вернулся в Рим, то друзья спрашивали его:

– Как он принял весть? Что сказал этот великий оратор?

Тихо ответил Метелл:

– Он ничего не сказал... И клянусь богами, что эта была первая его речь, которая потрясла меня всего...

М. Б.



Герман Зудерман
(Hermann Sudermann, 1857–1928)

Герман Зудерман (Hermann Sudermann, 1857–1928) – немецкий писатель и драматург. Начиная свою деятельность как журналист. Активно выступал за свободу прессы и права литераторов в рамках организаций «Товарищество немецких писателей» и «Союз немецкой прессы». Литературным дебютом Зудермана стал роман «Госпожа забота» («Frau Sorge»), однако наибольшего признания в Германии и за ее пределами он добился прежде всего как драматург. Из 35 пьес наиболее известными являются «Честь» (1889), «Гибель Содомы» (1890), «Родина» (1893), «Бой бабочек» (1894) и др. В творческое наследие Зудермана входят также 8 романов и 26 рассказов. Свидетельством высокой популярности произведений Зудермана в Германии являются около 40 экранизаций, появившихся в период с 1913 по 1982 г.

Критика

Впервые фигура Зудермана представлена читателям томской периодики в «Сибирском вестнике» № 143 за 1890 г. Драматург был охарактеризован автором фельетона как «один из представителей немецкого театра, требующего внимательного отношения к окружающей общественной жизни, особенно к социальным отношениям, положению женщины и дегенерации семьи».

В рубрике «Наука, литература и искусство» в «Томском листке» № 187 за 1897 г. сообщается о запрете постановки по драме Зудермана «Иоанн Креститель» («Johannes») в Германии в связи с «недопустимостью публичного представления библейской истории Нового и Старого Заветов».

В разделе «Библиография» газеты «Сибирская жизнь» (№ 52 за 1902 г. и № 68, № 169 за 1903 г.) анонсируются издания произведений Г. Зудермана на русском языке – два тома Собрания драматических сочинений (перев. под редакцией К. Бальмонта) и роман «Сильная рука и золотое сердце».

Театральные рецензии

В репертуаре томского театра 1900–1910-х гг. были представлены наиболее известные пьесы Зудермана («Честь», «Гибель Содомы»).

ма», «Родина», «Бой бабочек», «Огни Ивановой ночи»), некоторые из них выдерживали несколько театральных сезонов.

В «Сибирском вестнике» № 106 от 6 сентября 1892 г. сообщается о томской премьере дебютной пьесы Зудермана «Честь». Автор рецензии Вс. Долгоруков дал высокую оценку этой комедии, назвав ее «выдающимся драматическим произведением», которое, однако, в исполнении томских актеров выглядело несколько затянутым и утомительным.

В рецензии на постановку, состоявшуюся в театре Королева 8 ноября 1898 г., Долгоруков предлагает подробный разбор ролей в спектакле, исполненных актерами труппы Струйского. Заметка о постановке «Честь», размещенная в «Сибирской жизни» (№ 178), позволяет заключить, что пьеса сохраняла свое место в репертуаре томского театра вплоть до 1912 г. Рецензент Иосиф Иванов видит главное достоинство пьес Зудермана в умении психологически правдиво изобразить разные типы людей и дать таким образом зрителю «кусочек жизни».

Девять рецензий, опубликованных в «Сибирском вестнике» и «Сибирской жизни», представляют историю томской рецепции самой популярной пьесы Зудермана «Родина». Премьера спектакля, состоявшаяся 24 января 1901 г., была освещена одновременно в двух изданиях. Критик «Сибирского вестника» Г. Вяткин указывает на «потрясающее современное содержание» пьесы и выдвигает в качестве ключевой в «Родине» проблему женской эмансипации, воплощенную в образе главной героини Магды. Рецензент «Сибирской жизни», давший свой отклик на спектакль в театре при Бесплатной библиотеке в октябре 1904 г., подчеркивает мастерство немецкого драматурга, которое характеризуют «дар наблюдения, искренность чувства и богатство замысла, увлекающие зрителя» (№ 22).

Ряд рецензий томских критиков посвящен пьесе «Гибель Содомы». Об успехе премьерной постановки, состоявшейся 15 февраля 1894 г., сообщается в «Сибирском вестнике» в рубрике «Театр и музыка» (№ 22). Автор отклика на спектакль от 26 ноября 1896 г. (№ 257) определяет пьесу Зудермана как «немало трудную» для исполнения в связи с наличием в ней целого ряда ярко обрисованных «типичных личностей».

Неудачный опыт сценического воплощения пьесы силами одной из томских трупп описан в рецензии критика на постановку от 6 ноября 1901 г. («Сибирская жизнь». № 252).

В рубрике «Театр и музыка» «Сибирского вестника» помещены также три отклика на постановки пьесы «Огни Ивановой ночи». В рецензии на премьерную постановку (14 января 1901 г.) читателю предлагается подробное изложение сюжета драмы, в которой «жажда жизни личной взяла верх над требованиями чести, долга и христианской нравственности» ее героев. Две последующие рецензии, опубликованные в «Сибирском вестнике» за 1903 г., отражают опыт сценического воплощения пьесы силами гастролирующей московской труппы и труппы томского театра (№ 118 и № 274).

28 июля 1895 г. в Зимнем театре Е.И. Королева состоялся спектакль по пьесе «Бой бабочек», о чем сообщает театральный анонс газеты «Сибирский вестник» (№ 86). «Комедия в 4-х действиях соч. Зудермана» игралась в переводе Куманина.

Переводы

В 1895 г. в «Сибирском вестнике» № 15 под заголовком «Преображение» был напечатан перевод рассказа Г. Зудермана «Der verwandelte Fächer», подписанный псевдонимом N. Рассказ входит в сборник «Im Zwielficht. Zwanglose Geschichten», опубликованный впервые в Германии в 1886 г.

Публикации

1890

Очерки заграничной жизни // Сибирский вестник. –1890. – № 143 (12 декабря). – С. 3.

1892

Театр и музыка // Сибирский вестник. –1892. – № 106. (11 сентября). – С. 3.

1893

Театр и музыка // Сибирский вестник. –1893. – № 130. (7 ноября). – С. 3.

1894

Театр и музыка // Сибирский вестник. – 1894. – № 22 (20 февраля). – С. 3.

1895

Фельетон // Сибирский вестник. – 1895. – № 15 (2 февраля). – С. 1.

Анонс // Сибирский вестник. – 1895. – № 86 (27 июля). – С. 1.

1896

Долгоруков, В. Театр и музыка // Сибирский вестник. – 1896. – № 257 (28 ноября). – С. 2.

1897

Наука, литература и искусство // Томский листок. – 1897. – № 187 (29 августа). – С. 3.

1898

Долгоруков, В. Театр и музыка // Сибирский вестник. – 1898. – № 242 (8 ноября). – С. 3.

1901

Театр и музыка // Сибирский вестник. – 1901. – № 12 (16 января) – С. 3.

Вяткин Г. Театр и музыка // Сибирский вестник. – 1901. – № 21 (26 января). – С. 3.

Вяткин Г. Театр и музыка // Сибирский вестник. – 1901. – № 215 (5 октября). – С. 3.

Театр и музыка // Сибирская жизнь. – 1901. – № 22 (27 января). – С. 3.

Театр и музыка // Сибирская жизнь. – 1901. – № 216 (6 октября). – С. 3.

Театр и музыка // Сибирская жизнь. – 1901. – № 252 (20 ноября). – С. 3.

1902

Библиография // Сибирская жизнь. – 1902. – № 52 (6 марта). – С. 3.

1903

Библиография // Сибирская жизнь. – 1903. – № 68 (25 марта). – С. 3.

Библиография // Сибирская жизнь. – 1903. – № 169 (5 августа). – С. 3.

Долгоруков В. Театр и музыка // Сибирский вестник. – 1903. – № 12 (16 января). – С. 3.

Ольгин И. Театр и музыка // Сибирский вестник. – 1903. – № 118 (5 июня) – С. 3.

Вяткин Г. Театр и музыка // Сибирский вестник. –1903. – № 254 (25 ноября). – С. 3.

Вяткин Г. Театр и музыка // Сибирский вестник. –1903. – № 274 (19 декабря). – С. 3.

1904

Вяткин Г. Театр и музыка // Сибирский вестник. –1904. – № 167 (3 августа). – С. 3.

Театр и музыка // Сибирская жизнь. – 1904. – №168 (4 августа). – С. 3.

1911

Театр // Сибирская жизнь. – 1911. – № 221 (8 октября). – С. 3.

Театр // Сибирская жизнь. – 1911. – № 263 (29 ноября). – С. 3.

1912

Иванов, И. Театр // Сибирская жизнь. – 1912. – № 178 (2 августа). – С. 3.

Der verwandelte Fächer

Sie sind träumerisch, sind zerstreut – Sie trällern eine Melodie leise vor sich hin. Noch einmal, wenn ich bitten darf!

«Am stillen Herd – zur Winterzeit!»

Ich danke, ich weiß genug. Daher also hatten Sie gestern in der Oper keinen Blick für Ihren gehorsamsten Diener? Unser blondlockiger Walther Stolzing hat's Ihnen angetan.

Schauen Sie rasch in den Spiegel – dieses Erröten kleidet Sie wunderbar. Doch dass gerade ein Held des hohen c es ist, der es hervorzuberte, das will mir nicht gefallen!

Warum ich in so spöttischem Tone von den Tenoristen rede, fragen Sie? O, verkennen Sie mich nicht!

Ich bin auf der Stelle bereit, jedem Tenorsänger zu bescheinigen, dass ich ihn persönlich als die höchste Blüte der Männlichkeit, einen gewissermaßen aus der Allgemeinheit herausdestillierten Idealmann anerkenne.

Ich scherze nicht – wahrhaftig! Ich will's Ihnen beweisen – naturwissenschaftlich – echt Nordau'sch. Hören Sie zu:

Das vornehmlichste Attribut des männlichen Geschlechtes – wir können das beim Menschen sowohl wie im gesamten Tierreich beobachten – ist die Gefallsucht.

Der Mann, weit mehr als das Weib, *will* gefallen und *muß* gefallen. Der Trieb der Arterhaltung bringt es mit sich, daß ein jeder im Wettkampfe um die Gunst des Weibes die Palme für sich zu erringen strebt.

Die Gunst des Weibes ist die Achse, um welche das Weltenrad sich dreht. Um ihretwillen hat sich die Natur mit ihren leuchtendsten Farben geschmückt, um ihretwillen ertönt die Stimme alles Lebendigen in holden Harmonien, und um ihretwillen ist der Riesenkampf entbrannt, der erst erlöschen wird, wenn die Welt zur Ruhe des Eises erstarrt.

Wundern Sie sich nicht. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Bei Darwin und Häckel steht's geschrieben.

Alles Schöne in der Natur ist ein Spiel der männlichen Gefallsucht – und vieles Furchtbare ist es auch. Diese Gefallsucht, durch welche im Tierreich – ich könnte ebenso gut auch auf das Pflanzenreich exemplifizieren, doch das würde zu weit führen – das männliche Wesen sich seinem künftigen Gesponse bemerkbar zu machen und seine Mitbewerber zu verdrängen sucht, äußert sich in drei Eigenschaften: erstens Farbenglanz, zweitens Gesangskunst, drittens Kampfesmut.

Превращение
Рассказ Г. Зудермана
(с немецкого)

Вы недоумеваете, почему это я так зло смеюсь над страстными певцами? О, поймите меня хорошенько!

Я готов сейчас же заявить каждому порядочному певцу, что я лично признаю в нем некоторые немалые достоинства и даже готов считать его в известном отношении идеалом мужчины. Серьезно – уверяю вас!

Один из важнейших атрибутов мужского пола – как у людей, так и у животных – есть желание нравиться представительницам прекрасного пола. Расположение женщины – центр, вокруг которого вертится все живое мира. Для нее природа украшается ярким цветом, для нее звучат в нежной гармонии голоса всего живущего, из-за нее идет гигантская борьба, которая не погаснет, пока не оледенеет весь мир. Не сомневайтесь – так сказано у Дарвина и Геккеля. Вы говорите, что голод, а не любовь – вечная причина борьбы в природе. Я согласен, ваша правда. Но если бы в один прекрасный день любовь исчезла, то многие, многие спросили бы себя: «К чему тянуть печальную жизнь?». Почти всякая борьба исчезла бы вместе с любовью с лица земли... Только там, где браки заключаются с трудом и женщинам грозит опасность умереть старой девой, там является ухаживание женщины за мужчиной, там она особенно усердно украшает себя, даже начинает заниматься фехтованием, как это вы видели у парижан.

Но возвратимся к природе и ухаживающему мужчине. Обычно из всех качеств, нравящихся женщине, каждой отдельной особи достается только одно, в очень редких случаях, по особому капризу природы, – два. Но представьте себе хоть раз человека, одаренного всеми. Такой именно феномен для женщины есть блестящий страстный певец. Начиная с блеска красоты его костюма с ним никто не сравнится. Кто из нас, остальных мужчин, осмелится явиться перед обыкновенной женщиной соперником ему?

Что касается пения, это понятно само собой, и воинской доблести (пожалуйста, не улыбайтесь) – никакой Баярд не совершил так много и таких блестящих подвигов, как он. Разве его борьба с соперниками не оканчивается всегда их нравственным поражением,

Vom Paradiesvogel bis zum Pavian und bis zum Husarenlieutenant sehen wir das ewig Männliche in herrlichster Farbenpracht erstrahlen, während das Weibchen in der Bescheidenheit seines inneren Wertes daneben verschwindet.

Von der Cikade bis zum Auerhahn und zum Troubadour macht sich das Männchen durch mehr oder minder wohl lautenden Gesang bemerkbar, während das Weibchen sich in selbstbewußtes Schweigen hüllt.

Vom wilden Wasserkäfer bis zum brünstigen Hirsche und zum göttergleichen Achill werden um des Weibes Besitz die fürchterlichsten Kämpfe geführt, während dieses ruhig daneben sitzt und abwartet, wer von den Kämpfenden übrig bleibt. Hinterher läßt es sich dann von Homer und Offenbach noch ansingen. –

Wie meinen Sie? Der Hunger, nicht die Liebe, sei die Haupttriebfeder zu dem ewigen Kampfe in der Natur? Sie haben recht, ganz recht. – Allein wenn eines Tages die Liebe aufhörte, so würde ein jedes Geschöpf sich fragen: »Wozu soll ich dieses lumpige Leben noch leben?« Und falls es nun nicht imstande ist, sich durch Schreiben pessimistischer Bücher die Zeit zu vertreiben, so muss es jedem Dank wissen, der sich die Mühe nimmt, es aufzufressen. Der Kampf wäre mithin aus der Welt geschafft. – – –

Das geschilderte Verhältnis zwischen Mann und Weib gilt so weit, als wir unverfälschtem Naturwalten gegenüberstehen; erst in unserer verrottenen Hyperkultur scheint es sich umzudrehen. Wo die Eheschließung Schwierigkeit macht und drüben die Gefahr nahe liegt, als alte Jungfer zu sterben, da beginnt das Werben des Weibes um den Mann, da legt man Rot auf, da schmückt man sich mit Tournüre oder Chignon und lernt durch *Verhüllen sichenthüllen*, da spielt man das Gebet der Jungfrau, da lernt man sogar fechten, wie das Beispiel der Pariser Damen beweist.

Doch kehren wir zur Natur und zum werbenden Mannwesen zurück! Von den drei Eigenschaften, durch die man die Gunst des Weibes gewinnt, wurde dem Einzelnen meistens nur eine zu teil – in seltenen Fällen schenkte ihm eine verschwenderische Laune der Natur deren zwei, wie das Beispiel des Husarenlieutenants beweist.

Nun denken Sie sich aber einmal einen Mann, dem sämtliche drei als Waffen im Kampfe der Liebe mitgegeben wurden! Die Weiberherzen müssen ihm in Legionen zufliegen, die Ziffer seiner Erfolge muß eine schwindelerregende sein, in Berlin allein vielleicht mehr als tausend und drei.

Und ein solches Phänomen, in der ganzen Natur- und Menschengeschichte einzig dastehend, ist der Tenor.

даже тогда, когда он погибает. Разве он не переносит с удивительным энтузиазмом смерть на костре, особенно при музыкальном сопровождении в три четверти.

Теперь вы видите, как я высоко ценю каждого порядочного певца.

Но чего, к сожалению, совершенно не достает этим идеальным господам, это склонности к идеальной любви. Горе идеально настроенным дамам, которые думают найти в певце то, что он обещает в таких чудных мелодиях. Психея будет счастлива, если спасется только с опаленными крыльями из сферы заженного им огня!

Теперь мне хочется рассказать вам маленькую историю одного веера, которая, кажется, сюда идет.

В числе дам, которые мне издавна нравятся, есть Лели Х. – пожалуйста, не старайтесь узнать, все равно не узнаете, – жена одного вестфальского железного фабриканта, имевшего любезность переселиться в лучший мир, оставив ей до миллиона марок. Его смерть была его добрым делом. Лели, как заколдованная принцесса, до сих пор находившаяся в очарованном замке, приехала в Берлин, явилась в свет. Это было прелестное существо, очень живое, веселое, с маленькими ручками, большими, томными голубыми глазами и темно-русой курчавой головкой.

Она сидела и ждала ... любви.

Многие из нас усердно ухаживали за ней, но мы были для нее недостаточно хороши. Она думала, что мы слишком дешевый товар.

– Он непременно должен всецело принадлежать мне, как я – ему, говорила она мне однажды, – он будет так же мужествен и самоотвержен, как и я, – прибавила она и глубоко вздохнула.

Я тоже. После этого мы долго смеялись друг над другом.

Около этого времени в наш Берлин на короткое время приехал один знаменитый тенор. Весь дамский мир радовался и трепетал, так как этого певца окружала слава блестящего Дон-Жуана, пред которым не могла устоять еще ни одна женщина. Все мы знаем тот блаженный трепет, с которым возбужденная женская фантазия мечтает о появлении такого мессии, – известно также, как заразительна эта горячка.

Лели была, как и все, и даже больше многих других дам, под влиянием очарования, и это понятно: в ней детское любопытство соединялось с мечтами женщины, которая искала любви.

Schon an Farbenpracht kommt ihm keiner gleich. Wer von uns anderen Männern darf es wagen, sich in silberner Rüstung, wie sie die Schwanenritter tragen, von den Frauen bewundern zu lassen? Wer sonst noch darf in wattierten, rosaseidenen – doch schweig still, mein Herze!

An Gesangkunst – na, das versteht sich von selbst; – und was den Kampfesmut anbetrifft, so – bitte, lächeln Sie nicht, meine Freundin! – kein Bayard, kein Eid hat so viel Heldenthaten aufzuweisen, wie er! Endet der erbitterte Kampf, den er allabendlich mit seinen Nebenbuhlern führt – dieselben pflegen Bariton zu singen und schwarze Tricots zu tragen – nicht immer mit der moralischen Niederlage der letzteren, auch wenn er, der Edle, dabei elendiglich zu Grunde geht? Erduldet er nicht selbst den Flammentod mit dem größten Vergnügen, meistens sogar im Dreivierteltakt?

So – und nachdem ich diesen letzten Trumpf ausgespielt habe, werden Sie hoffentlich nicht mehr zweifeln, dass wir in dem Tenoristen in der That den Idealmann verkörpert finden, und sollte er selbst von dem seinem Berufe verbrieften Privilegium: angeborener Dummheit froh zu sein, einen mehr als polizeilich erlaubten Gebrauch machen. Doch diese Dummheit mag gerade als ein Attribut des Idealmanne gelten.

Was aber leider diesem idealen Manne gänzlich zu mangeln pflegt, das ist der Sinn für ideale Liebe; und wehe der seraphisch gestimmten Frauenseele, die in dem Menschen wiederzufinden meint, was der Sänger in so zarten Tönen versprach! Psyche mag froh sein, wenn sie sich noch mit versengten Flügeln aus dem Bereiche des Lichtes rettet, das ihr angezündet ward!

Da muss ich Ihnen doch gleich eine kleine Geschichte erzählen, die Geschichte eines Fächers, die hier hinein passt und zudem einen denkwürdigen Anhang zu Ovids Metamorphosen bildet!

Eine der Frauen, für die ich von alters her schwärme, ist Frau Lilly X. X. – bitte, strengen Sie sich nicht an, Sie kennen sie nicht – die Gattin eines westfälischen Eisenindustriellen, welcher den preiswürdigen Einfall gehabt hatte, sich mit Hinterlassung einer halben Million in ein besseres Jenseits zu entfernen. – Sein Tod war die erste Liebenswürdigkeit seines Lebens. – Frau Lilly kam nach Berlin in die große Welt wie eine verwunschene Prinzessin, die bislang in einem Rauchfang gesessen. Sie brachte die Gewohnheit mit, über ihre Arme zu hauchen, als wolle sie noch immer Kohlenstäubchen entfernen. Im übrigen war sie rein, rein bis in die geheimsten Winkel ihres Herzens. – Ein scharmantes, kleines

По возвращении из оперы, которая произвела на нее чарующее впечатление, она получила записку от приятельницы с приглашением на вечер и с радостною вестью: «Он будет».

С каким волнением входила она в залу. Но его еще не было. Здесь и там выражали опасения, как бы он не прислал извинения в том, что не может быть. Такие люди, как он, могут себе позволить это. Около половины одиннадцатого по зале пробежал радостный шепот: «Он идет». Дверь отворилась. Он! Его усталый взгляд небрежно пробежал по зале, отыскивая хозяйку дома.

– Это он – он моя судьба, – прошептала Лели. Он прошел в дальние комнаты. Через минуту пронеслось: «Он будет петь».

– О, Боже мой, – прошептала Лели, – как я это перенесу? Вскоре он опять вошел в залу. Выбранная им ария была «Vorrei morir», очень нежная, мелодичная пьеска. Целый мир бесконечных страданий лился из его уст. Нежные, энергичные звуки действовали на дам, как удары бича на самобичующихся фанатиков, приводили их в священный, чарующий страх и ужас. На лице певца изображались муки. Его страстный взгляд, как бы искавший кого-то, вдруг остановился на Лели.

Священная дрожь пробежала по всему ее телу. «Vorrei morir», – мечтательно повторила она. Его глаза увидели спасителя, теперь можно и умереть спокойно.

Наступило время ужина. Хозяйка, подойдя к Лели и пожимая ей руку, с видом благодетельницы прошептала: «Представь, Лели, ты будешь сидеть рядом с ним».

Я вел ее к ужину. Признаюсь, это было для меня не очень весело, так как в этот вечер я был для нее ничто, все ее внимание было сосредоточено на нем, этом чудном герое.

Он снял перчатки и небрежно швырнул их на диван. Множество бриллиантов засверкало на его смуглой руке. Он был неразговорчив, лаконичен; все великие люди таковы. Время от времени он бросал хозяйке комплимент, как собачке кость, та ее с радостью грызла. Он удостоил несколькими взглядами и Лели. Но с особенным усердием занимался он своей тарелкой. Раковый паштет удостоился его полного одобрения, при виде форелей его мрачное лицо покрылось улыбкой, – наконец, пулярки совсем оживили его. В промежуток он не забывал сделать честь и старому Шамбертену.

Наконец на Лели упал более мягкий взгляд.

Persönchen mit schmalen, weißen Händen, großen, sehnsüchtigen, blauen Augen und einem dunkelbraunen Strudelkopf.

Sie saß und wartete auf die – Liebe.

Wir alle machten ihr den Hof, aber wir waren ihr nicht gut genug. Wir seien allzu leichte Ware, meinte sie, nur unsere Ansprüche wögen schwer.

«Er soll mein Schicksal werden, wie ich das seine, «sagte sie mir einmal mit schwermütigem Augenaufschlag, «aber er muss die Kraft haben, zu entsagen, wie ich sie haben werde». – Sie seufzte tief auf.

Ich auch. – Und darauf lachte der eine den anderen aus.

Zu derselben Zeit begab es sich, dass ein berühmter Sänger zu einem kurzen Gastspiel in Berlin erschien. Die ganze Frauenwelt jubelte ihm entgegen und zitterte doch vor ihm; denn die Glorie wildester Don-Juan-Romantik umgab seine Gestalt, und nimmer noch, hieß es, hätte ein Weib dem Sturmloch seines Werbens widerstanden. – Man kennt das wonnige Grausen, mit welchem eine überreizte Frauenphantasie dem Erscheinen eines solchen Messias entgegenträumt, man weiß, wie ansteckend dieses Fieber wirkt.

Auch Frau Lilly ward von dem allgemeinen Rausch ergriffen, und sie noch heftiger als die anderen, denn in ihrer Seele vereinigte sich die leise Sehnsucht des liebebedürftigen Weibes mit den furchtsamen Schauern des neugierigen Kindes.

Wonnetrunken kam sie aus der Oper zurück, wo sie ihn in all seiner Herrlichkeit, von Jauchzen empfangen, mit Lorbeer überschüttet, zum erstenmal erblickt hatte.

Zwei Tage darauf erhielt sie von einer Freundin, die ein glänzendes Haus machte, ein Einladungskärtchen, welches neben der lithographierten Formel in einer Ecke die mit Bleifeder gekritzelten Worte trug: «Er wird da sein».

Sie hüllte die wogende Brust in einen Frühlingshauch von Spitzen, sie nestelte mit zitternder Hand die duftigsten Rosen in das widerspenstige Gelock. Hold und verschüchtert wie ein Nixenkind, das zum erstenmal die oberirdische Herrlichkeit erschaut, betrat sie den Ballsaal.

Er war noch nicht gekommen. Man fürchtete sogar, er werde im letzten Momente absagen lassen. Männer wie er können sich das erlauben. – Atemlos harrend saß sie da – und so die anderen alle.

Gegen ½11 Uhr ging ein freudiges Beben durch den Saal. Aus dem Vorzimmer war Kunde gekommen. – Die Tür öffnete sich. – Er war es! Sein

– Что, мадмузель, понравилось ли Вам мое пение? – с нежной улыбкой обратился он к Лели.

– О, как мне вас благодарить?! – прошептала она.

– Не благодарите, – перебил он ее, кладя свою руку ей на руку (чего я не смел себе позволить, несмотря на полугодовую нашу дружбу), – вы меня одушевили, и если в моем пении слышалось нежное, теплое чувство, то этим всецело я обязан именно вам.

Разговор завязался. Она сумела овладеть вниманием певца настолько, что после ужина они отправились в полутемную нишу, где поболтали с полчаса. Вскоре после этого и еще задолго до окончания он поспешно уехал.

– Э, должно быть, у этого господина еще есть дела в нескольких будуарах, – заметил ему вслед чей-то злой голос.

На следующий день Лели, сияя от радости, рассказала мне, что произошло в нише. Оказалось, что между ней и певцом замечательная гармония душ. Во взгляде на любовь, как на судьбу, он вполне разделял ее мнение, а относительно самоотверженности был еще строже, чем она. Кончилось тем, что в веселой беседе он положил в карман ее веер и не хотел отдать.

– Что тут делать? – с притворной грустью спрашивала она. А на самом-то деле, конечно, была очень рада этому.

– Самое лучшее, – насмешливо ответил я, – напишите ему, чтобы он лично возвратил вам его.

Она покраснела. Было видно, что эта мысль ей уже была известна.

Спустя несколько времени, я однажды спросил ее про веер, она видимо смутилась и отвечала уклончиво. Только уже через два месяца я узнал, в чем дело.

Мысль, что надо получить веер обратно, и именно получить от него непосредственно, не давала покоя влюбленной головке. Наконец она приняла геройское решение и написала ему следующее: «Уважаемый господин! Прошу вас вернуть мне мою собственность. Для этого завтра я буду ожидать вас в музее в 12 часов, в верхней зале».

Вы видите, конечно, до чего она была наивна. Такого человека позвать в музей, где назначают себе свидание подростки и студенты!

С тревожным ожиданием сидела она в назначенный срок в середине зала на диване и смотрела на дверь.

müder Blick überflog nachlässig den Saal, die Wirtin zu suchen, die er kaum kannte. Eine byronische Locke fiel düster dräuend auf seine durchfurchte Stirn. – Ein leiser exotischer Duft ging von ihm aus.

«Er ist es – er ist mein Schicksal», flüsterte Frau Lilly und senkte den feuchten Blick in ihren Schoss; denn sie konnte seinen Anblick kaum ertragen.

Er verschwand nach einem der einsamen Gemächer. Es verlohnte sich nicht für ihn, die Zeit mit Konversation zu vergeuden.

Eine Weile später hieß es: «Er wird singen». «O, Gott», seufzte Frau Lilly, «wie werd' ich *das* ertragen?»

Er erschien wieder auf der Bildfläche. Seine bläulich behandschuhte Hand glitt nervös über die Schläfen, wobei die düstere Locke tiefer auf die Brauen herabsank. Offenbar kopierte er Rubinstein.

Er begann. Es war die Tostische Wimmerarie: «Vorrei morire», die er gewählt hatte, dieselbe, durch welche Mierzwinski später so reiche Triumphe erntete. – Eine Welt unendlichen Leides strömte aus seinem Munde. Die Töne drangen auf die Nerven der Weiber, wie die Geißeln, mit welchen die Flagellanten in wollüstigem Schmerz sich peitschten. In ihnen lag der wilde Aufschrei des Glückheischenden – der letzte Hauch des selig Sterbenden lag in ihnen. – Auf der Stirn des Sängers stand der Jammer Laokoons geschrieben. Sein umflortes Auge suchte im Saale umher, als müßte es sich an etwas anklammern, bevor es brach. – Und siehe da! es blieb auf Frau Lillys lieblichem Figürchen haften.

Ein heißer Schauer fuhr ihr den Wirbel hinab.

«Vorrei morire», wiederholte sie traumverloren. Ihr Auge hatte den Heiland erschaut – nun konnte sie sterben.

Als es zur Tafel ging, kam die Wirtin des Hauses zu ihr heran, und mit der Rührung der Wohlthäterin ihre Hand drückend, flüsterte sie ihr zu: «Bedanke dich, Lilly, du wirst zu seiner Linken sitzen».

Ich führte sie. Es war kein Genuß, das kann ich Sie versichern; denn ich blieb heute Luft für sie. – Ihr Auge verschlang jede seiner Mienen, sie zehrte von dem Windhauch, den seine Aermel hervorbrachten.

Er zog die Handschuhe aus und warf sie nachlässig in ein leeres Kristallglas. Ein Panzer von Diamanten funkelte an seiner langen, mattgelben Hand. Zwischen den Fingern saßen kleine Puderrestchen, die er liebevoll auf der Hautfläche verrieb.

Er war einsilbig. – Das sind große Männer immer.

Он заставил, конечно, заставил ждать себя с четверть часа, но, наконец, явился, закутанный в дорогую шубу, с шелковым платком на шее. Он, видимо, был не в духе и, казалось, торопился покончить. Взгляд его скользил по зале и нерешительно остановился на Лели. Он, должно быть, был близорук. Затем его внимание перешло на двух других дам, и если бы Лели не пришла ему на помощь своею легкой улыбкой, он, вероятно, прошел бы мимо.

Он подошел к ней и, нежно улыбаясь, взял ее руку.

– Милое дитя! – сказал он.

У Лели колени подогнулись от стыда и удивления. Откуда это он взял право так ее называть?

Он вопросительно посмотрел на нее, затем опять взял ее руку и нежно сказал:

– Помните – полутемная ниша, деревья, запах цветов, как тогда было хорошо нам!..

– Да, да, – сконфуженно отвечала она.

Он улыбнулся. Она не поняла улыбки, но все ж таки покраснела.

– О, я был счастлив! – тихо сказал он, пожимая ей ручки.

Она хотела встать, но он удержал ее, сам сел прямо перед ней на диван и вытянул ноги. Это движение напомнило ей покойного мужа. В самом деле это очень походило на супружескую бесцеремонность. Ей становилось неловко, и она снова покраснела. И снова она почувствовала на себе его испытующий взор. Он покачал головой.

– Э, как здесь жарко-то, – сказал он, расстегивая шубу и снимая перчатки. При этом один его бриллиантовый перстень упал на пол. Он равнодушно нагнулся.

– Этого не надо терять, это дорогое воспоминание о прекрасной принцессе»... – Он не закончил и тщеславно усмехнулся.

Она испугалась и недоумевала, правда ли это? Быть может, я ослышалась? Он медленно вертел перстень и смотрел на других. Вдруг он опять обратился к ней.

– Вот, посмотрите на это... Но она не дала ему договорить.

– Вы уже видели нашу галерею? – спросила она.

– Нет, – лениво ответил он и прикрыл рукой рот, как бы хотел удержать зевоту. – Мне ужасно тяжело, – продолжал он небрежно, – но что, отчего ему было тяжело, она не могла узнать. Тут он остановился, и, схватясь рукой за горло, издал два хриплых звука.

Dann und wann warf er der Wirtin ein Kompliment zu, wie man einem Hündchen ein Knöchelchen zuwirft. Sie nagte glücklich daran.

Frau Lilly geruhte er zu übersehen.

Desto eifriger beschäftigte er sich mit seinem Teller. Die Hummerpastete hatte seinen vollen Beifall, – von dem Lammrücken nahm er zweimal, – bei dem Anblick der Forellen flog ein erster Schimmer der Freude über sein düsteres Antlitz, – und die Poularden gewannen ihn vollends dem Leben wieder. Dazwischen goß er den alten Chambertin in Strömen hinab.

Endlich fiel ein milderer Blick auch auf Frau Lilly.

«Hatte mein Lied Ihren Beifall?» fragte er sie mit der Miene eines Mannes, der die Lösung des Welträtsels beabsichtigt.

«O – wie kann ich Ihnen danken?» stammelte sie.

«Danken Sie mir nicht», fiel er ihr ins Wort, die Hand vertraulich auf ihren Arm legend – ich war nun bereits anderthalb Jahre mit ihr befreundet und hatte mir eine solche Geste noch nie erlauben dürfen – «Sie waren es, die mich begeisterte, und wenn ein Hall meines innersten Empfindens in meinem Gesange nachzitterte, so habe ich es Ihnen zu danken». Er sprach es ruhig und geläufig, wie man etwas Auswendiggelerntes hersagt.

Ich überließ nun Frau Lilly ihrem Schicksal. Sie hatte den Sänger zu fesseln gewusst; denn nach der Tafel zog er sie in eine dämmerige Nische, wo er wohl eine halbe Stunde mit ihr plauderte.

Bald darauf und lange vor Schluss des Festes brach er auf.

«Wahrscheinlich hat er noch in etlichen Boudoirs zu tun», raunte ein bisiger Freund mir zu, als er ihn im Vorzimmer verschwinden sah.

Am anderen Vormittag ließ Frau Lilly mich rufen und erzählte mir glückstrahlend, was in der Nische vorgegangen.

Sie hatte eine merkwürdige Seelenharmonie zwischen ihr und dem Sänger entdeckt. In der Auffassung der Liebe als Schicksal war er durchaus ihrer Ansicht gewesen, und die Theorie des Entsagens gar hatte er womöglich noch strenger ausgebildet, als sie selber.

Ich dachte mir mein Teil, hütete mich aber, es auszusprechen. O, hätte ich nur nicht so feinfühlig sein wollen!

Das Ende vom Liede war gewesen, dass er vor lauter Begeisterung ihren Fächer, mit dem er gerade spielte, in die Tasche gesteckt und nicht mehr hatte herausgeben wollen.

«Was nun tun?» fragte sie in scheinbarer Hilflosigkeit, während die Freude über den an ihr verübten Raub ihr verräterisch aus den Augen sprühte.

– Ох... и снова охрипну, – с досадой сказал он, – а сегодня мне опять надо петь. Эх, эти проклятые перемены температуры... Мне надо идти отсюда, а то простужусь опять после этой жары.

Он быстро встал и, сунув руку в правый карман, вынул оттуда коробку, перевязанную розовой шелковой ленточкой. Короткое колебание, один неуверенный взгляд, еще один – он решился, он нежно шепнул ей с многообещающей улыбкой:

– Здесь то, что вы хотите от меня.

Она быстро взяла пакет, чего-то боялась, отчего-то дрожала всем телом. Он взял на прощанье ее горячую руку.

– Как хотел бы я поцеловать эту милую ручку, ваш белый лоб, дорогое дитя, – шепнул он.

– Ради Бога! – вскрикнула она.

– Но здесь ведь нельзя, моя милая, – ответил он с нежной улыбкой. – До свидания, в опере увидимся, да? – Он поспешно удалился, она неподвижно стояла как окаменелая... Что это значит, почему он со мной так обходился?

Дома она вскрыла сверток, из открытой коробки вырвался приятный запах свежих цветов. Наверху лежала изящная карточка с надписью: «На добрую память о счастливых минутах».

Под карточкой на нежных розах лежал вместо веера ... дверной ключ ...

N.

«Das Beste wird sein», meinte ich halb im Scherze, «Sie schreiben ihm, dass er Ihnen das corpus delicti persönlich wiedergebe».

Sie erglühte bis in den Nacken hinein. Der Gedanke war ihr augenscheinlich nicht mehr neu.

Gleich darauf verabschiedete sie mich. Als ich sie später einmal nach dem Fächer fragte, wurde sie verlegen und wich der Antwort aus. Wohl zwei Monate vergingen, ehe ich das rätselhafte Ereignis erfuhr, welches der Ärmsten manche Stunde friedlichen Schlafes gekostet hatte.

Der Gedanke, dass sie den Fächer wieder haben müsste um jeden Preis, war ihr fortan nicht mehr aus dem verliebten Köpfchen gewichen. Selbst ihre gekränkte Frauenwürde führte die Sophistin ins Feld, um von sich selber die Erlaubnis zu einem Stelldichein zu erbetteln. Endlich fasste sie einen heroischen Entschluss und schrieb ihm in sein Hotel folgende Zeilen:

«Mein Herr!

Ich bitte Sie, mir mein Eigentum zurückzugeben. Zu diesem Zwecke werde ich Sie am Sonnabend um 12 Uhr in dem linken Oberlichtsaale des Museums erwarten.

Lilly X.»

Sie sehen hieraus, wie naiv sie noch war! Einen Mann, wie ihn, nach dem Museum hinzubestellen, wo die Backfische und die Studenten sich ihre Rendezvous geben!

Halb betäubt vor Angst saß sie zur bestimmten Frist auf dem Rundsofa in der Mitte des Saales und starrte nach der Thür.

Er ließ wohl eine Viertelstunde auf sich warten; doch das gehörte sich so. Endlich erschien er, in einen kostbaren Biberpelz gehüllt, ein blauseidenes Cachenez vor dem Munde. Er sah unwirsch aus und schien es eilig zu haben.

Sein Blick glitt durch den Saal und blieb zweifelnd auf ihr haften. Er mußte kurzsichtig sein, denn er fixierte hinterher noch zwei andere Damen; und wäre sie ihm nicht mit einem schwachen Lächeln zu Hilfe gekommen, er wäre vielleicht an ihr vorübergegangen.

Nun trat er mild lächelnd auf sie zu und ergriff ihre Hand.

«Mein geliebtes Kind!» sagte er.

Die Kniee wankten ihr vor Schreck und Scham. Wo nahm er das Recht her zu solcher Anrede?

Darauf sah er sie wieder mit jenem seltsam prüfenden, zweifelnden Blicke von der Seite an, wie jemand tut, der einen anderen in seinem Gedächtnis unterzubringen sucht.

«Es war etwas dunkel», sagte er dann leise, fast zärtlich, wie um diesen Blick zu entschuldigen.

Sie sah erstaunt zu ihm empor. «Ja, es war etwas dunkel in der Nische», entgegnete sie verschämt.

Er lächelte. Sie verstand das Lächeln nicht; aber es lag etwas darin, das sie erröten machte. –

«O, ich war glücklich!» sagte er dann und drückte ihr verständnisinzig die Hand.

Sie war aufgestanden; er aber setzte sich dicht vor ihr auf dem Ledersofa nieder und – streckte die Beine aus.

Diese Bewegung erinnerte sie an ihren verstorbenen Gemahl. Es lag in der Tat etwas von der Ungeniertheit eines Ehemannes darin. Ihr wurde sehr unbehaglich zu Mute, und sie errötete aufs neue.

Und wiederum sah sie seinen prüfenden Blick auf sich gerichtet. Diesmal schüttelte er sogar den Kopf.

«Ist das heiß hier», sagte er dann, knüpfte den Pelz auf und zog die Handschuhe ab. Dabei fiel ihm einer von seinen Brillantringen zur Erde.

Er bückte sich phlegmatisch.

«Den darf ich nicht verlieren», sagte er, «er ist ein teures Andenken von der Fürstin...». Er hielt inne und lächelte eitel.

Sie erschrak. Unmöglich! Sie musste sich verhöhrt haben.

Er drehte den Ring langsam an den Gelenken hinunter und beäugelte auch die anderen.

«Sehen Sie diesen hier» – sagte er. Sie unterbrach ihn hastig; vielleicht hätte sie sonst ein interessantes Seitenstück zu der Karl Moorschen Erzählung von den vier Ringen zu hören bekommen.

«Kennen Sie unsere Galerie bereits?» fragte sie.

«Nein», erwiderte er und hielt die Hand vor den Mund, wie um ein Gähnen zu unterdrücken.

«Es ist mir tief schmerzlich, meine teuerste Frau», fuhr er nachlässig fort; aber was ihm tief schmerzlich war, sollte sie nie erfahren, denn plötzlich hielt er inne und griff mit der Hand nach seiner Kehle, wobei zwei gurgelnde Töne zum Vorschein kamen.

«O – ich bin wieder belegt», sagte er dann, »und heute soll ich singen. Dieser Temperaturwechsel – ich muss machen, daß ich fortkomme, sonst werde ich stockheiser.«

Darauf erhob er sich und langte mit seiner Rechten in die weite Tasche seines Pelzes, aus welcher er einen weißen, viereckigen Karton hervorzog, der mit einer rosaseidenen Schnur umwunden war. Einen Augenblick zögerte er – noch einmal jener zweifelnde Blick, – dann, wie sich zu raschem Entschlusse auffarend, flüsterte er mit vielsagendem Lächeln:

«Und hier ist, was Sie wünschten».

Mechanisch nahm sie das Päckchen an sich. Sie wagte kaum mehr sich zu rühren, so unheimlich war ihr zu Mute.

Er ergriff zum Abschied ihre Hand.

«Wie gern möchte ich Sie auf die Stirn küssen, mein geliebtes Kind», flüsterte er.

«Um Gotteswillen!» schrie sie auf.

«Aber es sind Leute da», fuhr er mit ruhigem Lächeln fort. «Auf Wiedersehen heut in der Oper – nicht wahr?»

Damit eilte er hinaus.

Wie versteinert starrte sie ihm nach. «Warum behandelte er mich so?» stammelte sie. Wie gern hätte sie sich beglückt gefühlt, aber das Weinen war ihr nah!

Vollends betäubt schlich sie nach Hause.

*
*
*

Dort öffnete sie das Kästchen.

Berauscher Blumenduft stieg daraus empor. Obenauf fiel ihr ein Zettel ins Auge, auf dem die Worte standen:

«Ewige Erinnerung an die Stunde des Glücks».

Und unter dem Zettel, auf dunkelroten Rosen gebettet, lag statt des Fächers – – – ein Hausschlüssel.

Sudermann H. Im Zwielficht. Zwanglose Geschichten. Stuttgart, 1896. S. 41–49.



Илзе Фрапан
(Elise Therese Ilse Levien, 1849–1908)

Илзе Фрапан (Elise Therese Ilse Levien, 1849–1908) – самый известный псевдоним немецкой писательницы Элизе Терезе Илзе Левиен (Elise Therese Ilse Levien, 1849–1908), также издававшейся под именами Илзе Акуниан (Ilse Akunian) и в последние восемь лет жизни – Илзе Фрапан-Акуниан (Frapan-Akunian). Ее перу принадлежат многочисленные романы (многие из которых посвящены женскому вопросу, например «У нас, женщин, нет отечества. Монологи летучей мыши» – «Wir Frauen haben kein Vaterland. Monologe einer Fledermaus», 1899), новеллы, очерки, эссе, несколько драм и переводов, в числе последних – «Воскресение» Л.Н. Толстого.

Включенный в хрестоматию «маленький фельетон» «Легенда о богине девице. Из новеллы Ильи Фрапан» (предположительно, это мужское имя дал автору переводчик) представляет собой фрагмент из новеллы «Проклятое место» («Die verfluchte Stelle»), написанной после путешествия по Кавказу в 1901 г. Новелла была издана в сборнике «Крик» («Schreie») под псевдонимом Илзе Фрапан-Акуниан; два года спустя томские читатели смогли прочесть ее перевод, напечатанный в августовском номере «Сибирской жизни» за подписью «Г. А-кий». Фрагмент повествует о молодом горце Тигране, впервые оказавшемся в Баку. Проводник показывает ему маяк на берегу Каспийского моря, названный девичьей башней, и рассказывает легенду о красавице – дочери хана Лейле.

Примечательно, что это единственный перевод из Илзе Фрапан на страницах «Сибирской жизни».

Публикации (переводы)

Легенда о богине девице. Из новеллы Ильи Фрапан «Проклятое место». Маленький фельетон (пер. с немецкого для «Сиб. жизни») // Сибирская жизнь. – 1903. – № 172 (9 августа). – С. 2.

Оригиналы

Frapan I. „Die verfluchte Stelle“ Novelle aus dem Kaukasus // Schreie. Novellen und Skizzen von Ilse Frapan-Akunian.

„Die verfluchte Stelle“
Novelle aus dem Kaukasus
(Fragment)

Betäubung hatte sich auf ihn gelagert, die nur dann ein wenig nachließ, als sie an den Quai hinabkamen und vor sich eine weite Ebene erblickten.

Da war das Meer.

Seine müden verweinten Augen hafteten erstaunt darauf. Freilich, als sie dann näher kamen, und er die zähen Wellen erkennen konnte, die sich schwer und schleppend, wie unter einem Druck bewegten, so ganz anders, als die lieblich plätschernde, kristallklare Quelle, die von Asaij hinauf zu den Winterhürden ins Tal floß, da überfiel ihn ein noch stärkeres Gefühl des Grauens vor all diesem Häßlichen, Fremden als zuvor. Sogar das Wasser war kein Wasser hier! Unter seiner Ölschicht glitzerte es unheimlich in Regenbogenfarben und war doch grau und undurchsichtig wie etwas Festes. Der Anblick des schmutzigen Strandes, auf dem die ganze Welt ihren Kehricht ausgeschüttet zu haben schien, die schwankenden Schiffe, der Wassergeruch, der Geruch der Fische, der Teers, des Tauwerks, und ein Geruch vor Allem, der alle anderen Gerüche beherrschte – der Geruch des Naphthas, des Petroleums – erregten ihm Übelkeit.

Er schloss die Augen, ihm war zu Mute wie einem kleinen, verirrtten Kinde. Aber sie deuteten nach dem Turm, dem Leuchtturm, der durch eine Straße vom Meere getrennt, rot und steil zum staubumwölkten Himmel emporsteigt. Sie wollten dort hinauf, Tigran musste folgen. Froh seines Wissens, erzählte Ambarzum dem zerstreut Hörenden die Sage vom Mädchenturm, der damals, als er gebaut war, noch dicht am Meere lag, so dass die Wellen seinen Fuß bespülten.

«Ein Fürst von Baku, ein wilder, gewalttätiger Chan, hatte hier vor Hunderten von Jahren regiert. Und er hatte eine böse Liebe gefasst zu seiner eigenen Tochter Leïli. Denn die Tochter war schön. Und der Chan wollte sie zu seinem Weibe machen. Aber sie widerstand ihm. Und als er sie hart bedrängte, da sprach Leïli: ‚Wenn Du mir einen hohen Turm bauen kannst im Meere, dass Niemand als der Mond den schändlichen Frevel sieht und Niemand als Wind und Wellen den Vater zu den Tochter reden hören, wie er nicht reden darf, dann will ich Dir zu Willen sein, und ich will in den Turm gehen und dort vor aller Menschen Augen verborgen wohnen als Dein Weib‘.

**Легенда о богине девице.
Отрывок из новеллы Ильи Фрапана.
«Проклятое место».
(Перевод с немецкого для «Сиб. жизни»).**

...Они вышли за окраину города и спустились к грязно-серой равнине.

То было море.

Усталые заплаканные глаза Тиграна*) с изумлением смотрели на равнину. Когда они приблизились, они увидели, что это вода; он увидел ленивые, тягучие, точно клейкие, волны Каспия. Как будто эти волны с трудом, нехотя несли с собою какую-то громадную, едва им посильную тяжесть.

Да, это вода.

Но как разнится она от чистой, как кристалл, прозрачной воды ручья, что игриво, весело, с серебристым блеском протекает там, в горах Кавказа, недалеко от родного аула вниз, в долину!

Чувство гадливости, отвращения пред всем чуждым, что он увидел в Баку, охватило молодого горца.

Даже вода – здесь – не вода!

На поверхности, покрытая чем-то маслянистым блестела местами цветами радуги, и все-таки неприятно было смотреть на нее. Эта вода мутна, непрозрачна, как твердое вещество. Вид загрязненного прибрежного песка, на который, казалось, весь мир выбросил свой сор, – запах испорченной рыбы, дегтя, просмоленных канатов и, в особенности, запах нефти, керосина, царивший над всей остальной вонью, вызывал у Тиграна тошноту.

Он закрыл глаза. Ему было тяжело, как заплутавшемуся в незнакомом месте ребенку.

Спутники, рабочие, указали ему на башню-маяк, высившуюся своим верхом к небу, к облакам пыли. Им захотелось подняться с Тиграном на эту башню.

Пришлось следовать за ними.

Гордясь пред Тиграном своим знанием, Амбарцум рассказал ему легенду о девичьей башне; так называли здесь этот маяк. В прежние времена, когда башня была только что выстроена, она находилась у самого моря, так что волны лизали ее подножие.

Da ließ der Chan die geschicktesten Baumeister rufen von weit und breit, und sie bauten den Turm im Meere und bauten ihn, wie es Leïli gefordert, hoch und unzugänglich, rund nach dem Strande zu, aber scharfkantig hinausspringend in das Meer, als ein Wogenbrecher.

Und als der Turm gebaut war, ging Leïli, die Tochter des Fürsten, dicht verschleiert, durch die einzige Tür in den Turm, und diese enge Treppe hinauf, die jetzt wir gehen, und hinter ihr ging der Chan, ihr Vater. Und auf jedem der kleinen Balkone, wo wir jetzt rasten, rastete Leïli ein wenig und blickte traurig durch ihren Schleier hinaus, und neben ihr stand der Chan und versuchte sie zu erkennen hinter dem Schleier mit seinen heißen, gierigen Tigeraugen.

Und als die oberste Plattform erreicht war, dieselbe, die jetzt wir betreten und die damals weit ins Meer hinaus vorsprang, da riss Leïli ihren Schleier ab und ließ ihn hinausflattern mit dem Seewind, und dann, mit einem kurzen Schrei, wie ein Seevogel, stürzte sie sich selber hinab in das hochaufspritzende Meer. So rettete sich Leïli vor ihrem Vater, der nach ihrer Schönheit trachtete. So tat Leïli, die Tochter des Chans».

Tigran errötete tief. Die Geschichte hatte ihn belebt. Und er dachte an Nargiß, und er war sicher, ja – auch Nargiß würde tun wie die Chanstochter Leïli, und sein Herz fasste neuen Mut. Aber er fürchtete, dass man ihm seine Bedanken ansehen könnte, darum war ihm die Röte brennend ins Gesicht gestiegen, und er hatte sich weggekehrt.

«Сотни лет сему назад этим городком правил один хан – дикий необузданный деспот. А у хана была красавица-дочь Леила.

Очень красива была она!

В сердце хана вспыхнула страстная нечистая любовь к своей собственной дочери. И хан захотел жить с ней, как с женой.

Но Леила противилась этому.

А когда он сурово и настойчиво стал принуждать ее к тому, она сказала:

– Если ты построишь у моря высокую башню, чтобы никто, кроме луны, не видел ужасного преступления, никто, кроме волн морских, не слышал, что будет говорить в ней отец с своей собственной дочерью, говорить то, чего ему не должно бы, – тогда я готова исполнить твою волю; тогда я готова идти в эту башню и жить там с тобой не как дочь родная, а как жена.

Тогда хан приказал созвать из близких и далеких стран самых лучших строителей, и они построили эту башню на взморье. Построили так, как требовала этого Леила: закругленную со стороны берега и острым углом вдающуюся в море, так что волны морские, пенясь, с брызгами рассекались об остроугольный выступ.

А когда постройка башни была совсем закончена, то Леила, дочь хана, вошла в нее через единственную дверь и стала подниматься, вот по этой лестнице, по которой теперь мы идем. А за нею шел хан, ее отец.

И на каждой маленькой платформе Леила останавливалась и отдыхала и смотрела на море сквозь свое покрывало. Останавливался и хан и старался рассмотреть сквозь покрывало ее красивое лицо, любовался им жадными глазами, сверкающими как у тигра.

Когда же они достигли верхней платформы, – той самой, на которую вот теперь вступаем и мы и которая в то время висела над морем, – тогда Леила, сорвав с себя покрывало, пустила его по ветру, обнажив прекрасное лицо. А затем вскрикнув коротко, как морская чайка, ломая белые руки, вдруг бросилась вниз в бушующее море.

Так, не щадя молодой жизни, спаслась Леила от отца, прельстившегося ее красотой. Так поступила Леила, дочь грозного хана».

Щеки Тиграна вспыхнули румянцем. Рассказ произвел на него сильное впечатление. Невольно он вспомнил о Наргисс, оставшейся там, в родном ауле. Он был взволнован.

Опасаясь, что спутники заметят, как румянец разливался по его щекам, и догадаются, что он вспоминает о своей возлюбленной, он отвернулся от них и долго глядел на море.

Перев. Г. А-кий.

*) Примеч. перев.: молодой кавказский горец из местечка, далекого от цивилизации и культуры, в первый раз пришедший на бакинские нефтяные промыслы для заработков.

Содержание

Предисловие.....	5
------------------	---

Поэзия

Новалис (Novalis, 1772–1801)	10
Der Karfunkel	12
/Карбункул. Из Новалиса	13
Генрих Гейне (Heinrich Heine, 1797–1856)	14
Die Wallfahrt nach Kevlaar	18
/Богомольцы (Wallfahrt nach Kevlaar) Гейне	19
Lieb' Liebchen, leg' s Händchen auf' s Herze mein	22
/Из Г. Гейне Дай ручку сюда... положи мне	23
Und wüßten's die Blumen, die kleinen... ..	24
/Из Г. Гейне (Und wusten's die Blumen, die Kleinen)	
Если-б знали цветочки – малютки	25
Das Meer erglänzte weit hinaus... ..	24
/Из Г. Гейне Безбрежное море дремало.....	25
Wandere!	26
/Из Г. Гейне Если женщина с сердцем холодным.....	27
/Из Г. Гейне Если женщина, миг поигравши тобой	27
Der Asra	28
/Асра. Из Гейне	28
Deutschland. Ein Wintermärchen. Caput II	30
/Дуралеи. Из Гейне	31
Николаус Ленау (Nikolaus Lenau, 1802–1850)	32
Winternacht	34
/ Зимние песни (из Ленау)	35
An meine Guitarre	36
/ К моей гитаре	37
Sonnenuntergang («Schilflieder»)	38
/ Песня в камышах (из Ленау)	39
Liebesfeier	40
/ Праздник любви	41
Vorwurf	42
/ Упрек.....	43
Роберт-Эдуард Прутц (Robert-Eduard Prutz, 1816–1872)	44
Alter und Jugend	46
/ Из Роберта Прутца.....	47
Густав Фальке (Gustav Falke, 1853–1916)	50
Lebensläufe	52
/ Три судьбы	53

Фридрих Вильгельм Ницше (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844–1900)	54
63. Sternen – Moral	60
/ I. Мораль звезд	61
14. Der Brave	60
/II. Мужественность	60

Проза

Теодор Герцль (Theodor Herzl, 1860–1904)	64
Die Garderobe	68
/ За кулисами	69
Sohn	78
/ Сын	79
Die Raupe	88
/ Гусеница	89
Макс Нордау (Simon Maximilian Südfeld, 1849–1923)	102
Wie Frauen lieben: II. Anders	108
/ Макс Нордау. Как любят женщины	109
Wie Frauen lieben: I. So	126
/ Макс Нордау. Как они любят	127
Леопольд фон Захер-Мазох (Leopold von Sacher-Masoch, 1836–1895)	148
Im Schlitten	150
/ На санях	151
Оскар Блюменталь (Oscar Blumenthal, 1852–1917)	162
Auf der Treppe	164
/ На лестнице (из рассказов О. Блюменталья)	165
Worte	166
/ Слова (из рассказов О. Блюменталья)	167
Герман Зудерман (Hermann Sudermann, 1857–1928)	170
Der verwandelte Fächer	176
/ Превращение. Рассказ Г. Зудермана (с немецкого)	177
Илзе Фрапан (Elise Therese Ilse Levien, 1849–1908)	194
Die verfluchte Stelle. Novelle aus dem Kaukasus	196
/ Легенда о богине девице. Из новеллы Ильи Фрапан «Проклятое место», пер. с нем	197

Учебно-практическое издание

Н.Е. Никонова, Ю.С. Серягина,
Д.А. Олицкая, В.Н. Горенинцева,
Ю.И. Родченко, Е.В. Аблогина,
М.В. Павлова

ПЕРЕВОДЫ
НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
ПЕРИОДИКЕ СИБИРИ

ХРЕСТОМАТИЯ

Редактор Н.А. Сидорова
Компьютерная верстка Т.В. Дьяковой

Подписано в печать 01.06.2016.
Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Печ. л. 12,75; усл. печ. л. 11,85; уч.-изд. л. 12,0. Тираж 500. Заказ

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
ООО «Новые Печатные Технологии», 634040, г. Томск, ул. Высоцкого, 28, стр. 1